



У Р А Л Ь С К И Й
Следопыт

В
1968



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ И СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ



Этот рисунок — не обычная иллюстрация. Старший сержант Халил Мингазеев запечатлен художником-очевидцем на командном пункте одной из частей Уральского добровольческого танкового корпуса во время боев на Орловщине летом 1943 года.

Когда писатель-фронтовик Виктор Стариков предложил „Уральскому следопыту“ свою документальную повесть о войне, мы решили, что хорошим дополнением к ней будут фронтовые рисунки стрелка-мотоциклетчика Уральского корпуса художника Виктора Цигалья.

8
1968

ГОД ИЗДАНИЯ
ОДИННАДЦАТЫЙ

**Добровольцам
Уральского танкового корпуса —
живым и мертвым —
посвящаю**

ПАМЯТЬ МОЯ — СОЛДАТЫ...

Виктор СТАРИКОВ

Рисунки Виктора Цигалы

До Берлина 1500 километров

В последние годы о войне я пишу мало и редко.

Но она не оставляет меня. Я знаю, что солдатам, хотя после войны и прошло больше двадцати лет, до сих пор снятся тревожные фронтовые сны.

Так бывает и у меня.

Однажды мне приснилось, что я убит. Я еще бежал, и передо мною вставали от разрывов мин черные конусы земли, но это были мои последние шаги. Я знал, что жизнь оборвется, как только я упаду на землю... В другом сне я стоял в строю пленных и ждал расстрела. Вызванный, я отделился от шеренги, приклонился спиной к высокой кирпичной

стене и посмотрел в черные зрачки винтовок, нацеленных в меня. Я закрыл глаза, не будучи в силах встретить смерть как хотелось. Стоял и отсчитывал последние секунды... А потом проснулся с бьющимся сердцем и долго не мог заснуть.

Жизнь журналиста, занятого текущими делами и подчиненного ежедневным, круто набегающим событиям, приучила редко оглядываться назад. Двадцать четыре года спокойно пролежали мои пожелтевшие записные книжки военных лет. Я даже забыл, что в них хранятся десятки фамилий и портретов солдат и офицеров Уральского добровольческого танкового корпуса, с которыми я прошел фронтовыми дорогами от первых боев на Орловско-Курской дуге до завершающих — на улицах Берлина и Праги.

С Урала мы уезжали вместе многими эшелонами, домой вернулись в разное время и не все.

У развернутых знамен добровольцы клялись не щадить своей жизни ради счастья советского народа. Эту клятву они сдержали...

По карте от Орла до Берлина по прямой — полторы тысячи километров. Но мы к этому городу пробивались не по прямой. Не будет преувеличением сказать, что для нас путь к столице фашистского государства оказался вдвое, а может, и втрое длиннее. Эти тысячи километров уральские добровольцы одолевали с боями долгих семьсот дней и ночей.

И я прошагал этот путь вместе с ними по землям России, Украины, Польши и Германии.

Земля везде разного цвета и разной вязкости, но везде она — земля, на которой наливаются колосья и плодоносят сады, стоят города и села. И вся она полита кровью наших людей.

Этот мой рассказ — о самых первых трех днях боев, о самых первых десятках километров нашего пути к Берлину, о первых воинских подвигах и первых могилах.

Страна сражается

Старая записная книжка открывалась датой:

«18—19 июля 1943 года.

Корпус формировался на Урале, а боевую подготовку танкисты проходили под Москвой.

Дни боевой учебы закончены. Сегодня мы уезжаем на фронт.

Ночь... «Тридцатьчетверки» стоят на темной опушке в два ряда, поблескивая металлом под лунным светом...»

Я хорошо помню ту давнюю ночь.

Танкисты лежали вытянувшись, тесно прижавшись один к другому на широком брезентовом полотнище, пахнущем маслом, с минуты на минуту ожидая начала ночной погрузки. Сильный лунный свет делал зримыми самые отдаленные предметы. На башнях танков отчетливо белели трехзначные номера. Машины, с длинными зачехленными стволами, подходили на больших зверей, чутко дремлющих в тишине перед началом трудного перехода. Резкими линиями рисовались

на фоне неба геометрические фигуры ажурных электромачт. Маленькие домики пристанционного поселка, окруженные палисадниками с густыми кустами, отражали стеклами окон лунный свет. Пахло какими-то ночными белыми цветами — жасмином или табачком. Мирная, тихая ночь...

В той стороне, где была Москва, в небе вспыхивали яркими колкочими точками разрывы зенитных снарядов — звук их сюда не долетал. Воздушные бои с немецкими самолетами шли на самых ближних подступах столицы, а может и над ее улицами и площадями. По силе огня мы могли довольно верно судить об интенсивности очередного воздушно-го налета врага.

Уже полтора года, как немцев отодвинули от столицы. Однако передний край все же оставался близко, и немцы продолжали, хотя и реже, и только по ночам, тревожить Москву.

В оперативной сводке Советского Информбюро в эти дни сообщалось:

«На днях наши войска, расположенные севернее и восточнее города Орла, после ряда контратак перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось с двух направлений: из района севернее города Орла на юг и из района восточнее города Орла на запад.

Севернее Орла наши войска прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника по фронту протяжением 40 километров и за три дня непрерывных боев продвинулись вперед на 45 километров. Разгромлены многочисленные узлы сопротивления и опорные пункты противника».

Всех нас, уральцев, волновал вопрос: где и на каком фронте встретимся мы с врагом и получим первое огневое крепление.

У парней со всего рабочего Урала, надевших шесть месяцев назад армейские шинели, обрывалась одна полоса жизни и начиналась другая. Наверное каждый из нас в ту ночь мысленно оглядывался на прожитое и старался всмотреться в неведомую даль. Возволнованность находила выход в песнях. Сколько же их спели в те, самые последние, часы! Пели вполголоса, словно старались не тревожить тихого сна поселка. Слова самые обыкновенные приобретали особенный смысл, бередили сердце и душу.

Потом за всю войну я не слышал столько песен, как в ту ночь.

Я знал многих, кто лежал сейчас на брезенте, и размышлял о том, что выпадет на долю каждого, когда мы вступим в бои.

Сняв шлемофон, подперев русую голову, задумался о чем-то своем механик-водитель Федор Черноусов. Впервые я увидел его на заседании «треугольника» в цехе танкового завода. В небольшой комнате тогда шло обсуждение кандидатур добровольцев в танковый корпус. На каждое место претендовало человек десять. Так велик был порыв! Сквозь тонкие фанерные стены кабинета доносились цеховые шумы: шипение электросварки, грохот молотов, скрежет металла.

— У нас четыре наладчика,— говорил сердито начальник цеха, пожилой инженер, приехавший на Урал с харьковским эвакуированным заводом.— И все четверо просят в армию. Что же нам, отпустить их и прекратить производство? У нас не фронт? Может, и я хотел бы воевать, а вот сижу в далеком тылу. Не додадим завтра хоть одну машину — голову снимут! Сколько сегодня моторов опробовали?

Федор Черноусов ответил. Он стоял у стены, высокий, худой, в глухом комбинезоне. В больших глазах сверкало злое упрямство.

— Обещали больше...— упрекнул начальник цеха.

— Завтра перекроем,— заверил Федор.

— Завтра — это завтра. Мне и сегодня лишние моторы не помешают.

— Надо решать, — напомнил ему парторг, подсовывая заявления.

— Не могу дать согласия! — буркнул начальник цеха и даже отвернулся, не выдержав настойчивого взгляда Федора.— Слышал: сегодня четверо не справились с обещанием, а завтра, когда трое наладчиков останется, как жить прикажете?

— Найдутся ребята — заменят,— сказал Федор.

— Одного придется отпустить,— поддержал его парторг.— Сами создаем добровольческий корпус. Нужны ему хорошие водители? Нужны. Надо решать...— тоскливо повторил он.

Начальник цеха молчал.

— У меня два брата от немцев по-

гибли,— глухо произнес Федор.— О втором матери вчера «похоронку» принесли. Мне их смерть приказывает на фронт идти. А в цехе у меня руки опускаются.

— Ты комсомолец...— начал было начальник цеха, но встретившись со взглядом Федора, снова замолк.

— Одного наладчика отпустим,— сказал парторг.— Кого — пусть сами ребята решают. Так? Ты ведь на участке комсомольскими делами занимаешься? — обратился он к Федору.— Вот и подумайте коллективно... Вам там виднее, кто больше цеху нужен. Так?

— Я-то знаю, как они решат,— буркнул начальник цеха.

...Спустя неделю я встретил Федора Черноусова в батальонном машинном парке в шинели: он принимал свою «тридцатьчетверку».

В Уральском корпусе кадровыми военными были только офицеры, командовали экипажами машин в большинстве еще необстрелянные восемнадцатидвадцатилетние юноши, недавние выпускники танкового офицерского училища. Все же рядовые и сержанты — добровольцы, люди рабочих профессий, колхозники.

Где-то восточнее Горького и Ярославля в те дни кончалась граница затемнения. Чем дальше на восток, тем все сильнее и ярче по ночам полыхали зарева заводов. Здесь, на востоке, на Урале и дальше — в Сибири — готовили оружие для фронта. Тут был прочный тыл нашей армии. Пушки, танки, самолеты, минометы, «катюши», снаряды, которые эшелонами ежедневно уходили на фронт, делались руками этих парней. Теперь уральские добровольцы взяли в руки оружие, которое они сами готовили.

Я надел шинель еще в декабре 1941. В отличие от уральских ребят, которые знали войну по газетам и кадрам кинохроники, я уже побывал на фронтах. Видел разрушенные и сожженные города Подмосковья, выгоревшие и просто сметенные огнем с лица земли русские деревни и села. Запомнил зимние дороги Западного фронта, после разгрома немцев под Москвой, устланные трупами гитлеровских вояк. Испытал не раз страх смерти. Знал, как неудобно бывает лежать под авиационным налетом, уткнувшись лицом в снег или землю, вслушиваясь в режущий свист летящих бомб и дышать смрадным пороховым дымом.

Первую половину холодного 1942 года я пробыл на Северо-Западном фронте в частях под Старой Руссой, весенние полтора месяца, в том числе и майские праздники, прожил у партизан Псковщины, ходил с ними в ночные налеты на немецкие гарнизоны.

Я видел, как сражаются и умирают люди. Писать об этом было тяжело и трудно.

Я смотрел сейчас на танкистов и понимал, что после первых боев, наверное, увижу не всех. И старался запомнить все лица и голоса.

...Ночь уходила, трава задымилась росой, лунное сияние уступило место утренней заре. К воинской площадке медленно, почти бесшумно, только позвякивая при толчках тарелками буферов, подтягивался длинный состав платформ.

Раздалась команда. Разом реванули многосильные моторы «тридцатьчетверок». Их тяжелый гул сразу задавил тишину поселка; тяжелый смрад выхлопных газов наполнил окрестность, подавив запах цветов. Темной массой, одна за другой, машины отрывались от стены леса и шли к платформам.

Вот уже первая осторожно, с торцовой стороны, подмяла под себя дрогнувшую от тяжести платформу и медленно, перебирая сверкающими траками гусениц, расчетливо, не уклоняясь ни вправо, ни влево, чтобы не оступиться с узкой дорожки, поползла в голову к паровозу. За ней тронулась вторая машина, третья... Они двигались и двигались друг за другом. На редкость внушительно выглядело это шествие грузных машин.

Вдруг одна из них, шедшая третьей и почти уже занявшая свое место, странно метнулась вправо и влево, неловко дернулась и, качнув платформу, рухнула под крутой откос. Она жалко перевернулась несколько раз, но все-таки встала на гусеницы у подножия насыпи. Танкисты со всех сторон побежали к ней.

Что с механиком? Что с машиной?

Откинулась крышка люка и оттуда высунулся сконфуженный водитель. Живой и невредимый.

— Черт-те что!..—выругался он громко, растерянно оглядываясь.

— В порядке?—крикнул ему перепуганный командир машины.

4 — Конечно!..—отозвался водитель.—
Сейчас выберусь...

Он скрылся в башне, захлопнул люк. Взревел мотор, машина окуталась синим туманом, шевельнулись гусеницы, и танк, раздирая слабый торфяной покров, развернулся, пошел вдоль насыпи и пристроился к хвосту колонны.

Тут же, как на грех, еще одна машина, неосторожно выправляя ход, рухнула под откос. Но менее удачно. Грузно перевернувшись несколько раз, беспомощно шевеля гусеницами, она всей башней крепко вдавилась в болото, повернувшись словно большой жук плоским брюхом к небу.

С этой ребяткам пришлось повозиться. Два танка зацепили неудачника канатами и, дружно потянув, поставили гусеницами на землю. Он тут же бодро фыркнул и резво побежал грузиться.

До чего же, однако, хороши, надежны «тридцатьчетверки»!

Из-за леса поднялось ясное солнце, когда наш длинный эшелон, ведомый двумя локомотивами, вышел на магистральную линию Киевской железной дороги. Мы не знали направления, только гадали о возможном фронте. Состав начал набирать скорость. Мелькнуло Голицыно, пошли близкие к Москве дачные пестрые платформы. Значит, в Москву. А куда потом?

Но от Москвы нас резко повернули на юг. Значит туда, где сейчас развернутся летние бои,—к Орлу и Курску. Эти города мелькают ежедневно в сводках Информбюро.

Последняя сообщила:

«В течение 19 июля наши войска на Орловском участке фронта продолжали наступление и, преодолевая контратаки противника, продвинулись вперед на 4—6 километров».

Словно подхваченный вихрем, наш длинный состав «зеленой улицей», нигде не задерживаясь, стремительно катит на юг. Знойный ветер свистит и бьет в глаза, обжигает лицо. Разгар лета, свежа и ярка еще зелень лесов, в самом цвету высокие травы. Мелькают телеграфные столбы, деревья, домики железнодорожников, станции... Всюду в Подмосковье видны огороды, картофельные участки. Под посевы заняты все удобные и неудобные клочки земли, даже железнодорожные откосы. Ведь с продуктами трудно, очень трудно.

Нас провожают на всем пути. Женщины, устало выпрямляя спины, подни-



СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВЛАДИМИР МАРКОВ.

маются от земли и провожают эшелон долгим взглядом. Мальчишки выскакивают из реки на берег и, заслонясь рукой от солнца, дружно машут. А мы катим и катим, без остановок, на юг, на юг...

Садится солнце, вечерние сумерки падают на землю. Давно ушло Подмосковье, с деревнями, разбросанными по пригоркам и в низинках у тихих, с кувшинками, речек, с белыми церквушками на холмах. Пошли просторные дубняки, пахучие липовые рощи, обширные поля.

К ночи эшелон прибывает в Сухиничи.

Немцы не дали нам разгрузиться. Словно ждали нас. Загудели тревожно паровозы, забегали в небе лучи прожекторов, над путями повисли яркие осветительные бомбы, истекая светящимися багровыми каплями.

Состав поспешно оттянули от станции километров на пятнадцать и поставили в глубокой выемке. Танкисты набросали помосты из шпал, машины сошли на землю и до утра укрылись в ближайшем лесу.

С этого дня мы поступили в подчинение Брянского фронта и вошли в состав действующей армии.

Первые бои

Грязная, после ливневого ночного дождя, проселочная дорога ныряет в заросший ольхой глубокий овраг и выбирается на крутогор к крайним избам отбитой накануне у немцев деревни. Третий по порядку дом, с разваленной взрывом снаряда передней бревенчатой стеной, с аккуратно сброшенной в сторону железной крышей и обнаженным неприглядным нутром, словно кричит от боли. Две ветлы по углам дома обезглавлены и их еще недавно пышные зеленые вершины втоптыты колесами проходящих машин в черную землю.

На самой улице, изрезанной колеями вдоль и поперек, — следы недавнего боя: разбитые повозки, две убитые лошади, немецкие каски, исковерканный немецкий пулемет, обрывки желтых и красных телефонных кабелей, всякий бумажный мусор, куча пустых снарядных гильз и окровавленные бинты.

У разбитого дома под моросящим дождем сидит на бревне, в ситцевой ветхой кофточке, в грязной юбке, босая крестьянка, прижимая к себе детишек. Их трое: две девочки и мальчик, лохматые, давно нечесанные. Старшей лет десять, младшей — годика четыре. Смотреть на них больно: худенькие, личики в струпьях, глаза гноятся. Они, как перепуганные зверьки, прижимаются к матери, недоверчиво и настороженно глядят на толпящихся вокруг них солдат. Сюда подтягиваются части второго эшелона. За домом спешно отрываются огневые позиции батареи 76-миллиметровых орудий, связисты тянут во все стороны провода от штабов, разместившихся в уцелевших избах. Уже дымит полевая кухня.

И тут же, чуточку в стороне, за стеной сарая, на огороде роют могилу. Трое мертвых молодых солдат, враспояску и без сапог, лежат рядом на сочной зеленой траве. Дождь падает в их открытые глаза.

По середине улицы тянутся и тянутся войска: проползают танки, грузовики волокут тяжелые орудия, минометы, сбоку топает неторопливая пехота. Все это движется в ту сторону, откуда доносится несмолкающий гром недалекого боя. Отчетливо слышна артиллерийская стрельба и сухой треск автоматов. Да и сама деревня, за которую сейчас идет бой на этом участке, видна на пригорке в дождевой легкой дымке, правда не домами, а столбами дыма горящих изб. Три наших истребителя с режущим ухом ревом проносятся низко над деревней, едва не срезая макушки деревьев.

Измученная женщина застыла в немом отчаянии, в глазах — безмерная усталость и оцепенение, она ничего не видит вокруг себя и не слышит, только судорожно прижимает к себе худеньких детишек.

Я присаживаюсь рядом.

— Ваш дом?

Она кивает и судорожно проглатывает застрявший в горле комок.

— Муж где?

— Кто ж его знает — убит или воюет.. — Голос у нее хриплый, отвечает она равнодушно — без всякого чувства тревоги за близкого. — В сорок первом ушел, на второй день. В армию. С тех пор одна... Одна с тремя... Как только выжили — не знаю... Спасибо — пришли...

Некоторое время она отрешенно молчит, потом что-то разом в ее душе ломается, и все скрытые до того чувства выливаются бурным потоком слов, бесвязным разговором. Ее хриплый голос привлекает внимание нескольких солдат, и они молча слушают женщину. Для многих из них эта крестьянка с детьми—первая семья, которую они вызволили из фашистской неволи.

Женщина рассказывает обо всем, что они тут, в этой, теперь освобожденной, деревне терпели под немцами два года. Всяким поборам конца и края не было—все давай: молоко, мед, масло, яйца, лен, коноплю, курей. Всех раздели, всю теплую одежду позабирали. Всего лишили их немцы, в постоянном страхе держали. Грозил казнями за помощь партизанам, которые воевали тут неподалеку на Брянщине, случалось, что и до их деревни прорывались. Двенадцать мужиков этой деревни гитлеровцы расстреляли и повесили. За всякую вину... Больше двадцати подростков—девчушек и мальчишек—отправили насильно на работы в Германию.

Перед отступлением немцы согнали всех жителей, заставили собрать сохранившийся скот и приказали двигаться на запад. Еще ранней весной немцы строго приказали каждому дому: посеять коноплю, которая в этих местах славится урожаем. За всеми домами она поднялась высокая, густая. Женщина и схоронилась в ней с детишками, пересидела сутки до прихода своих. А коровы лишилась... Вот и дом разбит...

К концу ее рассказа кто-то из солдат дал детишкам по куску пиленого сахара, кто-то к ногам женщины положил банку американской тушенки и буханку ржаного хлеба.

А войска все движутся и движутся через эту деревню, размешивая грязь, туда, где не стихает бой.

За стенами сарая слышен сухой треск винтового залпа—воинский салют над могилой трех молодых солдат, погибших в бою за эту орловскую деревню.

Прерывается на улице движение колонны колесных машин. Впереди какой-то затор. Из кабины лётчуги, «скорой технической помощи», крытой фанерным ящиком грузовой машины «студебеккер», кто-то окликает меня и машет приглашающе рукой.

— Поехали! Наши форсировали Орск!.. Все теперь за рекой,—кричит помпотех Андрей Федоров.

Я бегу к машине и забираюсь в фанерный ящик. Там, в тесноте, вокруг верстака с тисками и наковальней, сидят ремонтники. Усаживаюсь на ребристую откидную скамью и тут спохватываюсь, что надо же было записать фамилию крестьянки, имена ее детей. Ведь, возможно, буду о ней писать. Но уже сдвинулась вся колонна машин и остановить лётчугу—задержать общее движение.

А нужна ли фамилия этой крестьянки? Таких разоренных русских семей—тысячи. Эта—дома, хоть и разбита изба, но она на своей земле. Для нее война кончилась, все страшное теперь позади, кончилась жизнь в вечном страхе. А сколько наших людей впереди, за линией фронта, ждет своего освобождения от фашистского рабства!

Такая запись о первом километре далекого пути на запад к Берлину сохранилась на пожелтевших страничках записной книжки 1943 года.

На предельной скорости «тридцатьчетверка» с цифрой на башне «232» пронесется по пустынной деревне, выбрасывая сверкающими траками ошметки грязи, и резко останавливается у низкого каменного скотного двора, где расположился бригадный медсанбат. На броне танка, распластавшись, в крови, лежат двое. В борту машины зияют равные пробоины, видны длинные царапины.

Санитары, волоча носилки, бегут к машине.

Первым они снимают с брони и укладывают на носилки заряжающего Володис Калачева, потом стрелка-радиста Петра Симакова. Он все шупает залитое кровью лицо и шепчет:

— Неужели глаза вырвало?

Распахивается люк башни, и оттуда кричит механик-водитель старшина Васнецов:

— Санитары! Лейтенанта возьмите. Ногу ему перебило. Скорее!..

Санитары влезают на корпус машины и заглядывают внутрь башни. Оттуда появляется черноволосая голова лейтенанта Шаповалова. Ругаясь, он помогает себе руками выбраться из узкого лаза башни. Но сил ему хватает лишь на то, чтобы

вылезти до пояса. Туловище его, перетянутое портупеей, ремнем с пистолетом, ломается, и он беспомощно склоняется. Санитары с трудом выволакивают его из башни, потом по броне спускают к носилкам. Правая нога Шаповалова болтается, словно она перерублена пополам и только держится в штанине. Лицо лейтенанта бледно и все в крупных каплях пота.

Подкатывает «виллис», и из него выходит полковник Троценко — командир бригады. Он наклоняется к лежащему на носилках лейтенанту и с досадой спрашивает:

— Что у тебя?

— Три боевых пробоины,— говорит Шаповалов.

— Машина боееспособна?

— Так точно! Но экипаж из строя был. Только механик уцелел... Может, ему часок отдохнуть? Жарко пришлось...

Крупное тело танкиста содрогается от боли, но горячка сражения еще не прошла, и он возбужденно говорит, говорит...

— А что там?—Троценко кивает в ту сторону, откуда доносится не стихающий гром орудий.

— Крепкая оборона... Никак не подойти. На холм вылезешь — весь на виду... Он бьет...—Голос лейтенанта от напряжения хрипнет.—Берега круты, танками их в брод не одолеть... Подходы надо строить...

— Ладно!..—смягченно говорит полковник.—Спасибо, лейтенант, за службу!

Троценко наклоняется, целует Шаповалова в лоб и направляется в штабной крытый автобус, с радиомачтой на крыше.

— Сережка! — шепчет сухими губами Шаповалов.— Дай закурить...

Механик, с черным, закопченным пороховым дымом лицом, грязными, в кровавых ссадинах пальцами торопливо вытаскивает из пачки папиросу, сует ее в рот лейтенанту, чиркает зажигалкой и дает прикурить лейтенанту. Тот жадно, глубоко затягивается дымом, но тут же роняет папиросу и больше не вспоминает о ней.

— Товарищ лейтенант,— говорит механик.— Возвращайтесь поскорее из госпиталя.

— А ты что думал? — с трудом разжимает губы лейтенант.— Вернись... Мало еще повоевал... Не рассчитался с гадом за наших ребят... Дай нашу флягу,— жа-

Следопыты сообщают

ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ВОЖДЮ

О том, что такой памятник находится в небольшом городке Московской области Ногинске, я узнал случайно. Запомнилась фраза из книги: «В сквере Глуховского хлопчатобумажного комбината 22 января 1924 года был воздвигнут первый в мире памятник Владимиру Ильичу Ленину».

И вот он передо мной — этот памятник.

Не было ни белоснежного мрамора, ни вечного гранита, ни звенящей бронзы у скульптора. Да и вряд ли бы справился — уж если говорить начистоту! — с этими неподатливыми материалами автор памятника. Потому что и профессионального скульптора тоже не было. Был просто рабочий Глуховского хлопчатобумажного комбината Федор Петрович Кузнецов, задумавший и выполнивший в металле первую в мире статую вождя российского и мирового пролетариата.

Сначала монумент предполагалось сделать к новому 1924 году. Партийный комитет фабрики дал в помощь Кузнецову членов фабричного изокружка. Однако как ни старался Федор Петрович, успеть к этому сроку не смог.

Наконец все готово, открытие монумента назначено на 22 января 1924 года.

Вот как описывает это событие один из его участников И. Галкин в газете города Богородска (так назывался Ногинск) «Голос рабочего» № 17 за 1924 год.

«22 января. На сегодня назначено открытие статуи. Статуя вождя пролетариата.

Первый памятник при жизни,— думали глуховцы.

Глуховцы давно готовились к этому празднику.

Статую строили сами рабочие. Долго строили.

К годовщине 9-го января, к памяти кровавого воскресенья памятник готов. Но вот все на площади. Ждут открытия митинга. Подошли организации, фабком, ячейка.



В глубокой тишине открывают статую. Перед рабочими стоит литой Ильич... окутанный черной лентой. Никто еще не знает о случившемся.

Недоуменно переглядываются... Спрашивают друг у друга глазами:

— В чем дело?

Проносится первая волна смутения, еще глухого, не осознанного.

— Товарищи! — начал секретарь ячейки дрожащим голосом. — Товарищи!.. Мы собрались сюда на открытие статуи Ильича, но нам приходится открывать ему памятник. Товарищи! Ленина нет!.. Вчера в 6 часов 50 минут вечера Владимира Ильича не стало...

Отказываются верить. Громкий плач.

— Товарищи! Товарищи! Что же я скажу там, своим в деревне! Ведь на днях только на докладе нам говорили, что Ильич поправляется. — Это говорит крестьянин.

— Нет, нет, неправда! Кто говорит, что Ленин умер!

— Нет! Ленин жив!

Жив в миллионах сердец пролетариев! Жив в его делах. Ленин не умер!

Эти возгласы комсомольца потрясли всю огромную массу собравшихся. Плачут женщины, катятся слезы у старых партийцев. Сознание отказывается верить».

Так поднялся на рабочей окраине текстильного города первый в мире памятник Владимиру Ильичу Ленину.

А. ТОКМАКОВ

лобно просит он.— Из стеклянной не могу напиться... А где же небо?

Начинается бред. Санитары уносят лейтенанта в помещение.

...Моя «летучка», на которую я подсел в деревне, безнадежно застряла в колонне автомашин на первой же переправе через узкую речушку с гнилыми и обрывистыми берегами. Немцы заметили «пробку» на дороге, и тройка их бомбардировщиков не замедлила этим воспользоваться.

Все побежали через старое пахотное поле, заросшее желтой сурепкой, полевым вьюном и васильками, в сторону леса. Издали я видел, как возле самой колонны высоко поднялись черные конусы вырванной взрывами авиабомб земли. В двух местах полыхнуло белое пламя: начали гореть машины.

Сюда, в деревню, где расположился штаб танковой бригады и наспех развернутый медсанбат, я восемь километров добирался пешком.

Машины штаба, накрытые зелеными маскировочными сетками, притаились под деревьями фруктового сада. Штабники нервничают. Танковая бригада не может добиться видимого успеха, несет тяжелые потери. К 18.00 она должна овладеть населенными пунктами в пятнадцати километрах отсюда. А немцы упорно держатся на своем рубеже обороны, прочно закрепившись на высоком берегу речушки. В такие трудные часы штабных офицеров, по опыту знаю, лучше не трогать: они угрюмы и молчаливы. И совсем иное дело, если успех налицо — веселы и разговорчивы, охотно делятся подробностями.

Вечером я должен отправить в редакцию газеты «Доброволец» корреспонденцию о первом дне боев уральцев-танкистов, о нашем ударе по врагу. Ее там нетерпеливо ждут. В этом смысл моего здесь пребывания. Мне же не о чем пока писать, хотя сражение идет в двух-трех километрах от этой деревни и я нахожусь в зоне активного артиллерийского и минометного огня.

Мне надо поговорить с участниками боев, расспросить, как действовали они, их товарищи, какой урон мы наносим противнику, какие несет он потери.

Я же пока могу видеть только наши потери...

Прибывают и прибывают раненые 9 танкисты, автоматчики, минометчики. Тя

железых вывозят с поля боя на танках. Тот, кто может двигаться, наспех перевязавшись индивидуальным пакетом, бредет сюда сам. Почти всякий раз, когда слышится рев мотора подходящей «тридцатьчетверки», у медсанбата появляется с хмурым лицом полковник Троценко. Он словно хочет видеть каждого своего выжившего танкиста, хочет знать, кого еще он потерял.

Можно ли, вынув блокнот, начать беседу с ними, страдающими сейчас от физической боли? Спрашивать: как действовал, сколько убил немцев, какие поразил цели? До того ли им сейчас?

К одному солдату, который шел, подерживая правой рукой перебитую левую, я сунулся с расспросами. Он мельком взглянул на меня и буркнул:

— Поди туда и сам посмотри...

Подъезжает еще одна «тридцатьчетверка», но останавливается не у медсанбата, а метрах в сорока у дома с колодцем. В эту самую минуту немцы начинают очередной густой минометный обстрел деревни. Слышен свист, потом глухой разрыв, опять свист — разрыв, опять и опять. К счастью, все мины ложатся непряцельно — на задах деревни, на огородах, где никого и ничего нет. Молчаливый, стоит танк. Наконец обстрел закончился, и из башни на броню вылезает старшина-механик Григоренко, нагибается, подхватывает странно беспомощного человека под мышки, с трудом вытаскивает и укладывает навзничь на броне машины. Из танка вылезают еще двое. Втроем они берут товарища, несут к избе и осторожно кладут на сырую землю.

Санитары с носилками торопятся к ним.

— Не нужно! — машет безнадежно старшина и встает перед ними так, словно хочет заслонить от санитаров лежащего. — Все...

Члены экипажа стоят возле своего мертвого командира. Субботин лежит, вытянув вдоль туловища руки. На гимнастерке, сплошь залитой бурым пятном крови, словно широкая рана краснеет орден Красной Звезды.

Подходит полковник Троценко, на ходу снимает фуражку.

— Из башни вылез, хотел лучше цель увидеть, — виновато рассказывает старшина. — Его и срезали пулеметом... Подавили мы расчет... Прошлись по окопам,

поутюжили... Боеприпасы кончились...

— Машина в порядке?

— Только подзаправиться надо да боекомплект получить.

— Кто Субботина заменил?

— Я, товарищ полковник.

— Продолжай командовать. Нет у меня сейчас резервных офицеров. Действуйте, быстро! Не теряйте времени. Надо нам сбивать немца. Ясно?

— Так точно! Разрешите выполнять?

— Выполняйте...

Танкисты побежали к машине.

Троценко в одиночестве постоял над Субботиным, прощаясь с ним, вглядываясь в мертвое лицо с упрямо сжатыми губами, и медленно пошел к своей штабной «летучке».

Идет бой... Близкий артиллерийский грохот не стихает.

Появляется девятка немецких бомбардировщиков. Они выстраиваются в «карусель», образуя замкнутый круг, готовясь бомбить наши позиции. Сверху на них стремительно кидается тройка подвижных истребителей. Бомбардировщики разрывают стройный круг и беспорядочно сбрасывают бомбы. Они срываются черными каплями из-под крыльев и стремительно летят к земле. Один из бомбардировщиков вдруг задымил и, гудя, с нарастающей скоростью, оставляя длинный темный след, носом несется к земле. В том месте, где он ударяется о землю, раздается взрыв и взметывается густое дымное облако. Остальные бомбардировщики отворачивают и очищают небо. Истребители, сделав плавный и широкий круг над полем боя, стремительно набирают высоту и устремляются в погоню за удирающими противниками.

Лейтенант Субботин лежит в одиночестве, словно всеми забытый... Отвоевался... В первый день нашей встречи с противником. По его желтоватой, смертно затвердевшей щеке беспокойно ползут два черных мураша.

Тогда я ничего не написал о лежавшем у дома в орловской деревне мертвом лейтенанте Субботине, первом мертвом нашего уральского корпуса, которого я увидел в первый день боя. На страницах небольшой двухполосовой газеты «Доброволец» для него, как и для многих и многих павших в тот день, не нашлось свободных строк. Более удачливые действия других экипажей заслонили смерть Субботина.



ВОЙНОЙ ОПАЛЕННЫЕ.

В этот день он вместе со своим экипажем сумел разбить несколько орудий противника, минометную батарею, раздавил десятка полтора автоматчиков, просочившихся к нам в тыл.

Подвиг лейтенанта Субботина, его короткая жизнь, отданная народу, остались тогда неотмеченными.

А ведь я мог бы написать о лейтенанте Субботине. Мог бы рассказать читателям, его боевым товарищам, как кареглазый и шустрый школьник кубанской станицы, мечтавший стать географом и пойти путем родителей — станичных учителей, попал в военное училище и через полгода вышел восемнадцатилетним офицером-танкистом и сразу оказался на войне.

Вечером, сидя у костра в лесу, за неделю до этих боев на Орловщине, Костя Субботин рассказывал товарищам, как однажды шестерка одностаничных подростков спустилась на украденной лодке в Азовское море и его берегами прошла в Черное, исчезнув почти на два месяца из дому. Сколько тогда они наделали тревоги домашним! Но сколько и сами всего приняли: попали в шторм, блуждали в тумане, едва не потопил их ночью теплоход.

Костя Субботин был небольшого роста, ладный, крепенький, с лукавой искринкой в глазах. Щеки его еще были детские округлы, с пушком на подбородке и верхней губе. Свои рассказы он пересыпал солью юмора и умел захватить внимание слушателей!

В тот вечер Костя Субботин поведал историю и своей первой любви.

С девушкой они расставались поздно, когда в спящих садах смолкали соловьи. И каждую ночь ему предстояла неизбежная встреча на мосту через степную речушку: там его ожидали трое парней. Издали он видел их темные силуэты. Можно было, конечно, миновать мост, обойти его стороной и вплавь перебраться на другой берег. Гордость этого не позволяла.

Его спрашивали:

— Будешь к Зойке ходить?

— А что? Запретите?

Силы складывались явно неравные — один против троих, страдавших за отвергнутого Зойкой товарища. Каждую ночь Костя Субботин возвращался домой изрядно помятый в драке. Но вечером опять торопился на свидание к ничего

не подозревавшей Зойке. Потом опять шагал к дому, готовясь к неизбежной драке. Она повторялась с жестоким постоянством.

Неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не внезапная война. Костя Субботин встретился с теми тремя в парикмахерской — всех призывников стригли наголо. Но и тут ребята не примирились.

— Ладно, — пообещали ему дружки, — еще встретимся после войны. Рассчитаемся!

— Конечно, встретимся! — подтвердил Костя.

Солдаты-добровольцы, да и офицеры-танкисты, моложе Кости Субботина всего на год-два, смотрели на него как на бывалого и опытного воина. Еще бы: воевал, получил орден Красной Звезды. Опытный офицер. На всех учениях под Москвой его экипаж выходил на первое место и получал благодарности командования.

Я знал и другое. В Косте жила душа поэта. Он рвался увидеть мир и писал стихи о красоте сердца. Втихомолку, стесняясь товарищей. Их накопилось у него толстая тетрадь в черном коленкоровом переплете. Не военные, нет, о войне в них не было ни единой строчки, только любовные. Все они посвящались девушкам, обозначенной одной буквой — З.

Прости! — так суждено
Расстаться было нам —
Свободно сердце вновь твое...
Я волю дам слезам.

Он погиб, выполняя свой воинский долг. Из медсанбата вышел полковник Троценко и увидел меня.

— Там лейтенант Пронин лежит, — сказал он. — Осколок у него вытаскивали. Их самоходка «фердинанда» подбила. Поговори с ним... Пусть танкисты знают, что «фердинандов» и «тигров» можно бить.

«Тигры» и «фердинанды», вооруженные более мощной броней и пушками большего калибра, чем на обычных немецких танках, представляли серьезную угрозу. Три уральских «тридцатьчетверки» были смертно изувечены первыми же их выстрелами. Снаряды наших 76-миллиметровых пушек отскакивали от лобовой брони этих машин, словно горох от стены.

Раненые вповалку лежали вдоль длинных стен коровника на соломенных подстилках и брезентовых полотнищах. Пахло навозом, лекарствами, кровью и потом. Дальняя часть помещения была наглухо отгорожена простынями: там работали врачи. Из оконных и дверных проемов падало достаточно света, и все было хорошо видно. Все лежавшие в повязках люди казались сейчас на одно лицо, и узнать среди них знакомых было просто невозможно. Я дважды прошел коровник из конца в конец и не нашел лейтенанта Пронина.

Навстречу двигалась сестра с большим чайником воды. Со всех сторон к ней протягивали кружки, котелки.

Я тронул ее за руку.

— Где лейтенант Пронин?

— Ищите...— нелюбезно сказала усталая сестра.— Вон их сколько! Да еще в соседних домах. Не упомнишь... Лейтенант Пронин!— позвала она.

— Тут!— послышался дискант из затененного угла.— Кто спрашивает?

Я пошел на голос в глубину коровника. Вытянутое, похудевшее лицо Пронина, с заострившимися скулами и провалившимися щеками, почернело от густо проступившей щетины и было неузнаваемо. Он лежал на брезенте, подложив под голову туго набитую полевую сумку, одна нога у него была в штанине, вторая— в толстой марлевой повязке. Ему недавно исполнилось двадцать два года, почти ровесник погибшего Кости Субботина.

— Осколок?— спросил я, присаживаясь.

— Ага! Снарядный... «Фердинанд» угостил. В мякоть, кость не тронута, еще воевать буду,— ответил он.— Закурить имеешь?

Я вынул кисет с махоркой, газету для завертки, и мы закурили.

— А экипаж?— спросил я.

— Воюет... У всех мелкие ранения. Seriously только у меня. Выскочил посмотреть, что с катком. Тут и садануло.

— Правда, что вы «фердинанда» подбили?

— Двух!— воскликнул он, и лицо его оживилось.— Хорошо у нас получилось! Понимаешь,— заговорил он возбужденно,— была задача— поддерживать танки, конкретнее— обстрелять противника, подавить его огнем. Вылезли на высоту, дали несколько выстрелов и скорее на-

зад, в ложину. Подождали, противник молчит, и мы опять на бугор. Только показались и видим, как прямо на нас, метрах так в тысячу пятьсот, ползет незнакомая машина. Прется на нас лбом— широкая, низкая, серая, как жаба. Что еще за черт? Кричу ребятам:

— Что за машина?

Никто не знает. Тут вторая такая же появилась!

Расстояние все же порядочное, но надо бить. Мы саданули первую в лоб. А его, сам знаешь, так не прошибешь. Подряд снаряд за снарядом... Туда и сюда крутимся. Не берут снаряды броню, только искры высекают. Зато одиннадцатым шарахнули! Ловко угодили! Задымил, гад! Видим, экипаж бежит ко второй. Мы и за нее принялись. И в нас снаряды летят. На дуэль вышли. Забыли про все. Кто кого раньше!.. И вторую подбили— тоже задымила. А сбоку и третья... Мы и не заметили ее... Первым же снарядом она нас по броне. Все ребята от осколков в крови. Вторым в каток. Я выскочил из машины взглянуть на него, тут мне и врезало. А ребята уже дымовую завесу поставили и отходят. Да и снарядов у нас не осталось. Вот так!.. Наводчик у меня хороший. Обязательно напишите о нем. Сержант Обложкин Степан. С последним снарядом отошли...

Пронин замолчал. На двух носилках по проходу к операционной пронесли двух новых раненых.

— Кого это?— приподнялся на локте Пронин.— Много наших сегодня выбыло,— добавил он.— Слышал, майора Филимонова убило?

Напротив нас лежал очень длинный танкист. Обе руки его, все лицо были в марлевых плотных повязках. На лице виднелись лишь щелочки для глаз, рта и носа. Он глубоко и трудно дышал, слегка постанывал. Вдруг что-то забормотал, потом закричал дурным голосом, приподнялся и начал белыми культиями бить себя по лицу, стараясь сорвать повязку. Соседи кинулись к нему, схватили за руки.

— Механик,— пояснил Пронин.— Из горящей машины выскочил. Только один и уцелел, остальные, бедняги, сгорели.

Около обожженного танкиста сбились сестры, врач, соседи.

— Стали мы отползать с одним снарядом,— опять заговорил, но полушепотом, Пронин,— а тут вдруг «тигр» из ку-

старников вылез, словно нас караулил. С перепугу последним снарядом ударили по нему — и давай ходу. «Змейкой» уходили, как по-пластунски. Он бьет в нас, а мы туда-сюда, не даемся ему в прицел. Так и утекли!

О Пронине я написал в тот же день в газету.

Полукруглая поляна в глубине оврага среди стройных дубков и густых зарослей орешника поразила меня неправдоподобной тишиной и уютom. Тут были поставлены две палатки с продуктами и имуществом, полевая кухня.

Сюда я попал в густеющих сумерках, подавленный и оглушенный впечатлениями длинного летнего дня.

Небольшой кучкой на траве сидели легкораненые танкисты и ужинали. С ними был и старшина батальона, резко выделяющийся армейским внешним великолепием среди солдат в замызганных и грязных гимнастерках, шароварах, пыльных сапогах. Старшина словно хотел подчеркнуть своим внешним видом, что

и на войне он должен всем подавать пример. Гимнастерка на нем аккуратно заправлена, белый подворотничок так свеж, будто пришит минут пятнадцать назад, сапоги сверкают ослепительным гляncем.

Война с доносившимся и сюда грохотом орудий казалась просто шумовым фоном.

Фамилии старшины не оказалось в моей записной книжке, но он, как живой, стоит перед моими глазами: крутолобая голова с оттопыренными ушами, нос картошкой, маленькие, глубоко сидящие зеленые глаза. Он среди других старшин выделялся особой скупостью и недружелюбием ко всем офицерам «сверху», которые по делам службы попадали в батальон и имели право сесть за обеденный стол. Так он относился и ко мне на полигоне под Москвой, когда я попадал в это подразделение. Я ведь тоже был офицером «сверху», меня тоже надо было кормить. А пайки-то в те дни были скуповатые...

«КОСМОС БЫЛ ЕГО ЖИЗНЬЮ»

Это письмо пришло в школу, когда у ребят начались весенние каникулы. На конверте голубой штамп «Почта летчиков-космонавтов СССР».

Началось все с того, что следопыты стали собирать материалы о космонавте Владимире Комарове. Решили открыть музей, постараться, чтоб имя героя носила дружина.

6 «а» работал над темой «Подготовка Комарова к полетам». В газетах и журналах рассказывалось об этом вскользь. А что если обратиться к друзьям Владимира Михайловича?

И написали ребята письмо в звездный городок Юрию Алексеевичу Гагарину...

Когда пришел ответ, следопыты уже знали: первый космонавт погиб при исполнении служебных обязанностей.

Вот его письмо.

«Ученикам 6 «а» класса
школы № 56
г. Ижевск,
Удмуртской АССР.

Дорогие ребята!

Вы просите рассказать вам о Владимире Михайловиче Комарове. С удовольствием выполняю вашу просьбу.

Познакомился я с Владимиром Михайловичем в 1960 году. Впечатление от этого знакомства осталось очень хорошим. И уже позже, когда мы были в одном отряде, дружились, делили и радости, и

неудачи, — это впечатление не изменилось.

Володя был человек светлый, чистый, ни хитрости в нем, ни недоброежелательства. У него было замечательное качество — он мог потратить несколько часов своего ограниченного свободного времени для того, чтобы поделиться знаниями с друзьями, разъяснить им сложный вопрос.



Увидев меня, старшина поднялся с земли.

— Держи котелок,— сказал он неожиданно радушно. — Подкрепись. — И мы пошли с ним к кухне.

Открыв крышку котла, он наложил без всякой меры почти полный котелок круто сваренной рисовой каши, к тому же заправленной тушенкой. Такой вкусной еды и в таком обилии я давно не видел. За весь этот день, мотаясь среди разных подразделений, я вообще ничего не ел. Проявленная старшиной щедрость была необычна. До этого мы состояли на тыловой, достаточно скудной продовольственной норме. Под Москвой, бывало, старшина тщательно делил на равные «пайки» буханки хлеба, резал на аккуратные дольки селедку, сахар насыпал специально выверенными мерками. С сегодняшнего дня мы перешли на повышенную фронтовую норму питания, но не может же она быть такой обильной!

Однако это было еще не все.

Друзей у Владимира Михайловича было много.

Ко всем он относился внимательно, чутко, они ему платили тем же.

Володя был настойчив, целеустремлен, требователен к себе, принципиальный, но не бездушный. Известность не испортила, не изменила его. Как был он скромным, приветливым, открытым, каким его запомнили люди, работавшие вместе с ним, таким он и оставался, когда носил уже Звезду Героя.

Космос был его работой, жизнью, основой его существования.

Свой последний полет он провел блестяще, до конца выполнил долг испытателя.

Со свершившимся трудно смириться, но что поделаешь, наука всегда требовала жертв.

Ребята, будьте же примерными в учебе и дисциплине, в школе и дома, принимайте активное участие в общественно-полезной работе класса и школы, а также всей нашей страны. Будьте достойными носить имя В. М. Комарова.

Летчик-космонавт СССР

Ю. Гагарин».

А. АРТАМОНОВ

Щелкнув замком канистры, старшина налил в кружку на глазок... водки.

— Хватит? Или еще добавить?—спросил он.

— Достаточно, — сказал я, вконец потрясенный такой необыкновенной щедростью.— Чего ты разошелся?

— Пользуйся...— горько сказал он.— Кашу на весь батальон готовил. А сколько наших выбыло — знаешь? Вчера я на три дня на полный состав продукты и водку получил. А что теперь с продуктами буду делать? Мы и для мертвых кашу варили... Их водку пьем.

Он плеснул немного в кружку и себе.

— Выпьем за тех, кто сегодня свою жизнь сложил! Таких ребят потеряли...

На фронте старшина поразительно переменялся. Я потом не раз встречал его. Танкистам этого батальона ни в чем не было отказа, выполнялись их любые, порой даже неожиданные просьбы. Лучшая баня устраивалась в этом батальоне, разнообразнее и вкуснее всего кормили у него.

Выпитая водка не подействовала на меня. Очевидно, велика была сила нервного напряжения...

К ночи бой начал затихать.

В овраг поодиночке, по двое сходились танкисты. Старшина торопился всех накормить, он радовался каждому, кто появлялся на поляне. У него молча принимали котелки с кашей, кружки с водкой. Молча выпивали, молча ужинали.

В темноте я услышал голос лейтенанта Мариновского — командира взвода.

— Ничего не хочу,— грубо сказал он.— У меня из трех машин две погибли. Все ребята вышли из строя. Какая водка? С кем я завтра буду немцев бить?!

С танкистами в овраг стекались подробности минувшего боевого дня. Назывались имена погибших и раненых, рассказывались детали танковых схваток. Мне сейчас не нужно было кого-то спрашивать. Оставалось только слушать и запоминать.

Ребята не задерживались здесь надолго. Подкрепившись, они тотчас уходили к машинам, которые надо было проверить, провести мелкие ремонты, залить горючим и пополнить боеприпасами. Утром снова в бой. На сон удачи, может, выкроить час-полтора, не больше.

Позже всех в овраге появился командир батальона майор Никонов, он толь-

ко что был на совещании у командира бригады.

Все притихли.

— Что? Трудно пришлось? — дружелюбно спросил Никонов. — Война — тяжелая работа. Мне, думаете, легче? Всем сейчас трудно. Дрались вы хорошо. Но и от немцев пришлось хлебнуть. Пусть нам сегодняшний день злости для завтрашнего боя прибавит. За своих товарищей отомстим...

Вокруг него собрались командиры машин.

— Экипажи ведут себя храбро, — сказал Никонов. — А общие действия получаются нерешительными. Как же это так? Ведь мы сейчас сильнее немца. Почувствовали? Он привязался к обороне. На ответные атаки не решается. В воздухе нет его господства. Наша задача завтра — сбить его оборону, раздавить...

Тон его разговора самый дружеский, почти семейный. Главная черта в характере комбата Никонова — доброта. Он ровен со всеми, в батальоне у него нет любимчиков, нет офицеров, которых бы он отличал перед другими. Любит общество своих офицеров, всегда с ними. Самыми хорошими минутами в батальоне на полигоне под Москвой бывали обеденные и за ужином. Комбат питался только за общим столом. Тогда и решались все батальонные дела.

Сейчас идет такой же спокойный разбор боевого дня.

— Есть ко мне вопросы? — спрашивает Никонов. — Всем ясна на завтра боевая задача? Тогда — по экипажам.

Овраг пустеет.

Никонов забирается в палатку, зажигает небольшую лампочку от танкового аккумулятора и, просматривая штабные бумаги, быстро подписывает их. У него широкий красивый лоб, мягкие русые волосы, движения неторопливы и спокойны. Мне нравятся его руки, небольшие, женственные. Покончив с бумагами, отдыхая, Никонов задумчиво смотрит на меня.

— Трудный денек... Самый, наверное, трудный. С запахом пороха ребята знакомятся. К нему привыкнуть надо... Пойдем, посмотрим, что у нас там делается?

Мы тихонько пробираемся темным оврагом. Сзади шагают трое автоматчиков охраны.

16

Фронт тоже должен спать. Но как

тревожен и зыбок этот сон! Выбравшись из оврага, мы останавливаемся у черной громады «тридцатьчетверки». От мотора еще струится тепло, пахнущее отработанной соляркой. Автоматчики-десантники, сбившись в тесную кучу, спят на земле. Так же кучно они и храпят. Двое часовых стерегут их тяжкий сон.

Мы всматриваемся в черноту ночи. Впереди по горизонту зарева горящих сел и деревень сливаются в извилистую багровую линию. Изредка стреляют наши и немецкие одиночные орудия. В отдалении то в одном, то в другом месте взлетает ракета — красная, зеленая или белая. Опишет крутую траекторию, повисит мгновение и падает, угасая.

— Разве для такого боя корпус готовили, — с горечью говорит Никонов. — Нам надо действовать в оперативной глубине противника, а мы сегодня воевали против огневых точек по всему фронту обороны. Вот и несем потери. Знаете, сколько сегодня мы потеряли? Так нас может и на три дня боев не хватить.

...Я лежу на брезенте возле штабной палатки в овраге и никак не могу уснуть. Только задремлю, как опять встают перед глазами картины минувшего дня.

На мгновение погружаюсь в сон и пробуждаюсь от возбужденных голосов, урчания тяжелых грузовых машин.

Зыбкий серый рассвет.

— Разведка донесла, — громко говорит незнакомый офицер, — немцы ночью по всему фронту отошли на двенадцать километров. Там у них еще линия обороны — по реке Оус. А всю эту оставленную полосу они выжгли. Ни одной целой деревни не оставили... Наши танкисты уже снялись, преследуют немцев. Вам теперь их догонять. Тылы приказано передислоцировать...

Мы наступаем!

Второй день боев.

В пыль перемешаны колесами и гусеницами все орловские дороги, по которым движутся к переднему краю, грохочущему непрерывным артиллерийским гулом, длинные колонны всех родов войск. Пыль густо покрывает траву,

кустики, все былинки и все листочки. Голубые васильки стали серыми. Зеленый цвет полей и лесных перелесков перекрашен в этот мертвящий цвет. Взвешенная пыль плотно висит в воздухе и сквозь нее солнце обжигает зноем июльского дня. Пыль горячая, словно зола в костре. Трудно дышать, запеклись губы, язык сухой, шершавый... Очень хочется пить.

Пыль прикрыла и черное деревенское пепелище. По обе стороны проезжей улицы среди холмов головешек стоят трубы печей, словно остатки древнего поселения. В центре торчат колоннами особенно высокие трубы, штук десять, одна возле другой. Видимо, тут спалили здание двухэтажной школы или клуба. Кое-где среди пыли и золы, прикрывшей головешки, еще пробиваются синие язычки огня и потрескивают угли. Остро пахнет гарью. Не сохранилось ни одного дерева, только чер-

ные их скелеты, с отставшей корой на стволах и толстых ветках. Каким-то чудом уцелел единственный на всю деревню колодец-журавель, у которого толпятся проходящие солдаты.

Это не первая мертвая деревня на пути — без единого жителя, без единого свидетеля того, что тут происходило в последние часы перед приходом наших войск. Потрудились немцы ночью основательно. Мы, действительно, вступили в созданную ими зону пустыни.

Из проулка в деревню, вздымая сапогами пыль, вваливается колонна плен-



СЕРЖАНТ НИКОЛАЙ СВИРИДОВ.

ных немцев — человек в двести. Ее сопровождают пятеро автоматчиков — по двое с боков колонны и один сзади. Молодые рослые немцы, ровесники наших танкистов, в вольно расстегнутых мундирах, без головных уборов, шагают бодро, словно даже довольны, что так сложилась их военная судьба. С веселым любопытством они всматриваются в уничтоженную ими деревню — два печных ряда, переглядываются, перебрасываются короткими фразами.

— Хальт! — раздается команда автоматчиков.

Колонна покорно останавливается.

Автоматчики, посоветовавшись, отводят колонну в сторону от дороги, и пленные садятся прямо в мягкую пыль под солдцпеком. Откуда-то появляется ведро и наши солдаты, незлобно препираясь, все же пропускают вне очереди конвойного к колодцу. Ведро идет по рукам, и немцы, оберегая каждую каплю влаги, разливают по кружкам воду.

Два солдата, несущие на плечах длинное противотанковое ружье, останавливаются против колонны. Тот, что помоложе, вытирая подкладкой пилотки красное взмокшее лицо, кричит на немцев:

— Хенде хох? Рус капут? У, гады! — и выразительно грозит им внушительным кулаком.

Немцы сидят, согнув спины, словно не слышат, не поднимают голов, не решаются встретиться глазами с нашими солдатами.

Вдруг один из автоматчиков стремительно бросается в гущу немцев, наступая им на ноги, и зло кричит на одного из пленных. Тот вскакивает и покорно протягивает конвоиру маленький пистолет. Автоматчик тычет в лицо пленному автоматом. Побледневший немец вытаскивает из кармана горсть мелких сверкающих патронов и высыпает их в ладонь солдату.

Проходящий пехотинец, ставший свидетелем этой короткой сцены, советует конвоиру:

— Дай ты фрицу по морде!.. Ишь, гад, в плен попал, а пистолет заховал.

Но конвойный солдат, не обратив внимания на этот совет, только еще раз грозит пленному автоматом и отходит на место.

Пленные пытаются что-то объяснить нашим автоматчикам. Те не сразу могут их понять, потом по выразительным жестам догадываются о смысле просьбы и дают согласие.

По очереди, по одному, немцы отходят за холм пепелища и там оправляются.

Два солдата наблюдают за этим потоком, а один из конвойных проходит между сидящими пленными и что-то отбирает у каждого. Я не могу понять, что немцы так покорно ему сдают. Потом вижу, что это медали, ордена и всяческие знаки, с черными пятнами отвратительной паучьей свастики.

Это правильно! Русский солдат ли-

шает немецких вояк всяких воинских отличий, которыми их награждал Гитлер.

Железок набирается много — целая куча. Немцы исподлобья ревниво наблюдают, как русские с этими знаками поступят.

Солдат снимает с плеч тощий «сидор» и всю эту грудку блестяшек сыпает в него.

— Да брось ты с таким дерьмом возиться, — советуют ему товарищи. — Охота на себе тащить... Высыпи в канаву, и всех делов.

— Зачем? Металл... — рассудительно говорит солдат, завязывая лямки «сидора». — Может, из него пули для таких же отлить можно.

Возле пленных то и дело задерживаются наши солдаты, разглядывают их с любопытством, бросают ядовитые реплики и торопятся дальше к своим колоннам.

— Что вы с ними цацкаетесь, — хрипло укоряет артиллерист конвойных. — Ишь как расселись отдыхать... Устали, гады? Я бы их задницами на головешки посадил поджариваться. Дал бы им почувствовать... Что с русской землей, сволочи, делают!..

Раздается команда. Немцы торопливо поднимаются и отряхивают с себя пыль.

Колонна трогается в путь. На восток!.. Этих вывели из войны, обезвредили, выбили из рук оружие. Но сколько их еще стоит впереди нас?

Мне все отчетливо запомнилось. Очень хотелось написать эту сценку. Но в газете появилось лишь пять строчек моей информации о том, что уральцы-добровольцы в этот день захватили пленных, кроме тех, которых я увидел в сожженной деревне, еще более двух тысяч. Где тут расписывать подробности!

В газете «Доброволец» в оперативной сводке сообщается:

«Севернее Орла наши части, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись вперед и овладели 22 населенными пунктами. В этих боях истреблено свыше 1000 солдат и офицеров противника. На одном участке крупные силы пехоты и 40 танков противника перешли в контратаку. Наши бойцы отбили атаку гитлеровцев. В результате боя подбито 10 танков и уничтожено до батальона немецкой пехоты.»



ПОХОДНАЯ КУХНЯ.

Готовился танковый десант в деревню за рекой. В низине стояли три машины лейтенанта Вертелецкого. Возле «тридцатьчетверок» толпились автоматчики. У каждого сбоку на пояском ремне в черном футляре нож-финка для рукопашных схваток, по несколько гранат.

Я попал сюда в самые последние минуты перед броском танкового десанта.

— Москаленко! — позвал Вертелецкий командира автоматчиков. — У тебя все в сборе?

— Все налицо, — подтверждает свою готовность Москаленко.

Лейтенант Москаленко небольшого роста. Вразвалочку, неторопливо он пересекает полянку.

— Все разобрались по машинам? — обращается к солдатам Вертелецкий. — Смотрите, плотнее прижимайтесь к броне, — отдает он последние наставления. — Держитесь крепче! На большой скорости пойдём. Надо огонь немцев с хода преодолевать. Как ворвёмся в деревню — сразу сбавим ход. А вы с брони

долгой и рассыпайтесь по сторонам, сразу немцев бейте. Поняли? Прикрывайте нас огнём, не давайте им гранаты против нас пускать.

Автоматчики молчаливо полезли на танки, плотно заполнили всю броню, устраиваются поудобнее, чтобы не сорваться на ходу.

Вертелецкий и Москаленко оглядели еще раз машины с автоматчиками и полезли на свой командный танк.

— Смелее, ребята! — крикнул уже из башни Вертелецкий. — Огня, главное, больше огня!..

Заработали моторы, и танки цепочкой стали взбираться на зеленый холм.

Тут же в лощине расположилась позиция тяжелых минометов, осевших широкими стальными тарелками в песок. Артиллеристы, враспояску, в расстегнутых гимнастерках, бегом подают с лотков гладкие грузные мины. Гимнастерки на солдатских спинах, под мышками в черных пятнах пота. Даже жаркое солнце не может их подсушить. Мины, с хорканьем, непрерывно вылетают из устьев

труб. Батарея ведет по противнику огонь. А лейтенант — командир батареи — все подгоняет солдат.

Повыше, в кустах, спят бойцы, которых, кажется, ничто сейчас не в состоянии оторвать от сна. Это — саперы, которые с вечера пробрались в расположение немцев, ночью, отражая атаки, проделали для танков проходы в минных полях. Потеряв почти половину состава, они только недавно вернулись и теперь спят тяжким солдатским сном.

— Воздух!.. — раздается тонкий крик.

В самом деле, прямо над нашими головами выстраиваются в чертову «карусель» бомбардировщики и начинают свою работу. Поздно искать укрытия. Да и где тут укроешься! Только прижимаешься плашмя к пахнувшей горькой полынью горячей земле и лихорадочно думаешь: «Пронеси мимо... Пусть не в этот раз...» А свист вонзается в уши, сильнее придавливает к земле голову. Свист второй бомбы словно торопится догнать первую, свистит и третья... Потом раздаются тяжкие удары... Бомбы падают где-то сбоку и сзади.

Все так же суетятся, подгоняемые лейтенантом, артиллеристы. Батарея продолжает вести беглый огонь. Спящие саперы даже не шевелятся.

Ободренные поддержкой с воздуха, немцы усиливают минометный обстрел. По счастью и мины тоже ложатся где-то чуть в стороне, слышны только их разрывы, да воздушными толчками в ложину нагоняет пороховой дымок.

Сюда я попал из журналистского желания видеть людей в деле. Мне, чтобы добраться сюда, пришлось преодолеть большое паханое поле, отделяющее дубовую рощу от переднего края. Короткими перебежками его пересекали пехотинцы. Поле все было в черных ожогах минометных разрывов. Выждав мгновение, я тоже побежал, падал в траву, когда слышал близкий свист мины, приподнимался и бежал дальше, словно там, в ложине, которая виднелась ореховыми кустами, было как раз то место, где я скроюсь, спасусь от огня. Точно такое поле в черных ожогах минометных разрывов я и увидел много лет спустя во сне.

Вот оно откуда!

20 ...Опять — особенно близкий — разрыв мины. В ложину даже комья земли

долетели. Кто-то из саперов приподнял голову, прислушался и опять уронил ее в траву.

И вдруг сюда, по крутому склону, словно скатился Сережа Александров. Я обрадовался ему, как самому дорогому для меня на всем белом свете человеку. Наверное потом я никогда не испытывал прилива такой нежности к мужчине, как тогда к Сереже Александрову. Мне казалось, что мы не виделись вечность, хотя расстались всего три дня назад.

Он присел рядышком, нескладный, в великоватых для него кирзовых сапогах, с расслабленным ремнем, близоручко щурясь сквозь запыленные очки, с милой улыбкой на толстых губах. Рядом был друг. Сотоварищ по войне. У нас были с ним свои дела, очень важные обязанности.

Он быстро огляделся и тоже, как и я, кажется, облегченно вздохнул.

— Живой? Вот и хорошо!

Сережа Александров начал рассказывать о тех подразделениях, где он успел побывать вчера и сегодня. Я слушал его, и мне казалось, что он видел несравненно больше, чем я, был ближе к боям, что он больше может рассказать читателям газеты «Доброволец».

Всегда энергичный, он и тут не стал тратить понапрасну времени.

Спустился к минометчикам, и у них, занятых боем, нашлась минута перекинуться с ним словечком. Потом не долго подсел к саперам, оторвал ото сна, и тоже что-то записал. Отыскал автоматчика из батальона капитана Фирсова, притащил его с собой для более обстоятельной беседы.

И вот, сидя уже около меня, Сережа Александров раскрыл блокнот, посматривал на небо, где еще кружили бомбардировщики, и сказал автоматчику:

— Рассказывай, как действовали в бою, а я буду записывать. Только больше подробностей. И не забывай называть фамилии.

Я сидел рядом с ними и слушал рассказ о ночном бое автоматчиков-десантников.

Темнолицый, с густо проступившей светлой щетиной на лице, боец Михаил Старков оказался родом из Сухоложского района. До ухода добровольцем в уральский танковый корпус работал председателем сельского Совета. Этому

обстоятельству Сережа Александров особенно обрадовался.

— У меня в Сухоложье редактор знакомый, — сказал он, с нежностью вглядываясь в усталое, тронутое резкими морщинами, крупное лицо бойца. — Я о тебе в «Доброволец» напишу и в районную газету. Пусть земляки знают, как ты немцев бьешь.

Этот рассказ Михаила Старкова в лаконичной записи сохранился в моей старой записной книжке. Ночью их отделение просочилось в деревню, за которую сейчас и шел бой, вышибло вражеских солдат из траншей и захватило ее. Отделение стойко держалось до рассвета, не давая противнику пробиться к реке и помешать подготовке к переправе наших войск. Несколько раз доходило дело до гранат, до рукопашной, когда пускались в ход и «черные ножи», которыми был вооружен весь личный состав уральского корпуса. В бою тяжело ранило в ногу командира их отделения сержанта Козьмина. Михаил Старков под огнем вынес сержанта на себе. Да еще прихватил оставленное кем-то противотанковое ружье. А это — груз немалый, да и не очень удобно тащить его одному.

Рассказ возбудил самого Михаила Старкова. Он словно заново переживал все перипетии ночного боя. Ведь впервые видел он так близко врага, впервые дрался с ним.



МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ИВАН ГРИГОРЬЕВ.

— Одного, знаю точно, убил... Гранатой его в лоб гробанул. А еще сколько — разве узнаешь? Один на меня сверху кинулся, я его ножом ударил, да попал в пряжку на ремне. Его кто-то из наших прикладом... Нож свой так и не нашел... Да и не искал — какой тут нож...

Он подождал, пока Сережа записывал, и продолжал:

— Вроде драки у нас вышло... Только тут посерьезнее. Насмерть бились... Они — нас, мы их... Почти всех ребят по-

теряли. Двое всего невредимыми вышли. Хорошо, что наши подоспели, а то всем бы каюк от немцев... Так они на нас утром поперли...

Он порылся в кармане и достал плоскую никелированную немецкую зажигалку.

— Трофей с моего немца... Хотите — возьмите, — протянул он ее Сереже.

— Оставь, не надо, — отказался Сережа, бросив на зажигалку косой взгляд. — Самому пригодится, а я не курящий.

Сережа записал фамилии всех, кто принял участие в этом ночном бою, особенно — погибших.

Теперь я не могу вспомнить, выполнил ли Александров свое обещание, написал ли о Михаиле Старкове и его товарищах.

— Спасибо, — сказал он Михаилу Старкову. — Иди отдыхай...

Сережа проводил глазами удалявшегося бойца, взглянул на небо, где последний бомбардировщик высыпал свой груз на наши головы, прислушался.

— Нам тут делать нечего, — сказал он. — Здесь ничего не напишешь. Надо отсюда убраться.

И мы пошли из лощины.

Часа четыре спустя мы оказались километрах в пяти от переднего края в относительно спокойном месте. Под прикрытием дубового леса стояли тяжелые гаубицы и вели методический огонь по далеким позициям противника.

На обширном картофельном поле дымили многочисленные маленькие костерки, на которых солдаты, сбившись в небольшие кучки, в котелках варили молодую картошку.

— Подножный корм нашли, — весело рассмеялся Сережа. — Наголодались на тыловой норме... У меня с собой сало офицерского пайка, — и показал в сумке порядочный кусок сочного розового сала. — Давай и мы пристроимся!

За ломоть сала от этого куса солдаты готовно уступили нам котелок, да еще и дров одолжили. А ложки мы уже привыкли таскать за голенищами сапог. Как и все уральцы, мы тоже имели на поясе «черные ножи».

Скоро среди прочих костерков на этом картофельном поле, среди высоких кустов ботвы, с цветущими соцветиями, задымил и наш костерок. Мы ели необычно вкусную картошку, обильно

сдобренную пайковым салом, смотрели, как садится раскаленное июльское солнце в той стороне, где противник пытался сдержать наше наступление, делились впечатлениями и соображали, где нам лучше провести эту ночь, в какие пробираться части.

Возле алтаря, в боковых притворах, в высоких подсвечниках горят толстые церковные свечи, от которых таяет мирным восковым запахом. На стенах — росписи. Темные и суровые лики святых, большие иконы в позолоченных рамках. Гулко звучат голоса, шаги, стоны.

Центральную часть церкви занимают спящие на каменных плитах солдаты, ближе к выходу, вдоль стен, на соломе, шинелях, всяком тряпье лежат раненые. Возле них хлопочут медработники. Трех девушек я знаю. Это военфельдшер Нина Смирнова, жена капитана Нагирняка, начальника штаба третьего батальона, добровольно пошедшая за мужем в корпус, медсестра из сыертской больницы под Свердловском Дуся Бородина, машинистка танковой бригады Валя Козлова.

Штабы нескольких частей тесно сгруппировались в алтаре. В углах расположились телефонисты, передающие команды, вызывающие кого-то на связь.

Снаружи в основание церкви ударил тяжелый снаряд, все здание глухо ахнуло, сверху обильно посыпался штукатурка и остатки цветных стелас. Но здание даже не дрогнуло. Наверное безызвестным русским каменщикам, которые выкладывали эти толстые стены и перекрытия сельской церкви над рекой, и не снилось, что прочность их работы будет проверять немецкая артиллерия.

Ночной бой идет, кажется, совсем рядом. Из темного дверного проема то и дело возникают фигуры офицеров, солдат. Одни приходят откуда-то из тьмы, полыхающей огнями разрывов, пожарами, шумом боя, другие уходят в сумятицу этой тревожной ночи.

Рядом я слышу тихий разговор.

— Помнишь нашего радиста Шора? А знаешь, как он умер? Горит наша машина. Двумя снарядами ее подбило. Только мы вылезли, Шора и ранило автоматной очередью в живот. «Идите, ребята, — говорит он нам, — а я тут посижу», и что-то запел потихоньку. Смот-

рим, по полю на нас немцы двигаются, окружают. Мы отползли от машины, залегли и открыли по ним огонь. А когда отбили и вернулись к машине, видим, что Шор привалился к борту и руки с бинтом опустил. Тронули его, а он мертвый. Хотел себя перевязать, и не смог. Вот как умер...

Рассказчик всхлипнул и замолчал.

Среди раненых я увидел пожилую женщину. Она лежала, запрокинув голову на вещевой мешок, рассыпав по нему короткие светлые волосы, закрыв глаза.

Вдруг она заговорила тихо и возбужденно. Нельзя было разобрать, что она говорит, доносились только отдельные слова.

Нина Смирнова наклонилась над ней.

— Сделаем, Дуся, сделаем,— успокаивала она женщину.

Та затихла.

— Кто это? — спросил я Нину Смирнову, когда она отошла от раненой.

— Это? — Она оглянулась.— Санитарный инструктор Колонскова. Из роты противотанковых ружей Притуленкова. Трудно им сегодня пришлось. Танки отражали. Говорят, двадцать восемь человек перевязала. И ее ранило. Тяжело... Утром будем эвакуировать...

Рядом, положив голову на сумку, спит крепко Сережа Александров. Изредка он, поворачиваясь, открывает глаза, вглядывается в полумрак церкви, вдвигающиеся по стенам тени, прислушивается к шуму и опять засыпает.

Он окончательно просыпается, когда возле него на полу устраиваются несколько танкистов. Будто бы кто-то толкнул его в бок. Сережа вытаскивает блокнот и начинает расспрашивать танкистов. Отвечает ему крепкий парень, с густо сросшимися над переносьем крутыми бровями. Они так низко нависают над глазами, что его лицо кажется угрюмоватым.

Отвечает он сдержанно и не очень охотно.

— Что подбили? Сколько пехоты ваша машина уничтожила? — кидает Сережа вопросы.

— Не знаю... Какая тут бухгалтерия... Немца отодвинули — вот наша бухгалтерия.

— А вы? Чем лично отличились?

— Живы остались,— угрюмо отвечает танкист.— Этим и отличились...

Сережа не принимает его тяжелой

шутки. Он хочет добиться точного ответа.

— У деревни немецкий танк стоит. Били по нему?

— Может и били. Там их много.

— Так и запишу — подбили танк и уничтожили больше сорока автоматчиков.

— Пиши — десять танков и сто пятьдесят автоматчиков.

Танкист отворачивается, не желая, усталый, поддерживать беседы, и начинает укладываться.

— Оставь ты его в покое,— советую я Сереже, видя, что он еще не считает разговор законченным.— Не до тебя ему. У них машина сгорела.

Сережа согласно кивает, со вкусом потягивается и через минуту уже храпит.

Опять разрыв снаряда, но теперь по другую сторону. Даже в церковь ворвалась взрывная волна, и пламя свечей резко заколебалось, и тени людей расшатались по всем стенам.

Вносят еще шестерых раненых. Здоровые торопливо теснятся, освобождают для них места на полу. Лейтенант Демиденков, сапер, без пилотки, волосы на голове скомканы, гимнастерка разорвана от ворота до груди.

— Вот и дома,— говорит он бодро своим раненым.— Сейчас вам помогут.

Он поворачивается к сестрам.

— Понежнее. Хорошо дрались ребята...

Демиденков проходит в алтарь и, козыряя, вытягивается, докладывает инженер-капитану Зимину:

— Приказание выполнено! — четко произносит Демиденков. — Прочесали указанную местность, указали проходы. Понесли потери: двое убитых, шестеро раненых. Имели стычки с немцами...

— Кого потеряли? — мрачно спрашивает Зимин.

— Бойца Викторова, комсорга Шепелева...

— Ладно, завтра доложите подробнее. Сейчас накормите людей, пусть отдыхают. Да и себя приведите в порядок,— мягче добавляет Зимин.

Но лейтенанта еще не оставила нервная горячка боя. Ему необходимо поделиться хотя бы частью того, что было пережито.

— Нервничают немцы, бестолково ведут бой,— говорит он возбужденно.— В темноте мы маленько сбились, оказа-

лись посреди немцев: впереди они и сзади они. Круговую оборону заняли. Сами напугались, да им тоже не сладко пришлось. Двоих немцев живьем приволокли. Трофеи принесли: винтовки, гранаты...

— Ладно, отдохайте,— еще раз говорит Зимин.— Задание выполнили отлично. Наши уже на окраине села, сейчас там ведут бой.

Саперы, сбившись в кучу, ждут своего командира. У них усталые, но довольные лица. Еще бы, выдержали ночной бой.

Лейтенант Демиденков еще раз подходит к раненым.

— Какие у кого будут просьбы? — спрашивает он.— Утром приду к вам. Еще повоею! Верно! Показали сегодня немцу, у кого нервы покрепче.

Он уводит саперов из церкви куда-то в темноту. Они шагают за ним гуськом усталой походкой.

— Эй, корреспондент, — раздается тихий голос от стены.— Подойди... Мне, видишь, не встать... Запиши, как ребята дрались... Пусть все узнают...

Я перешагиваю через двоих лежащих раненых и присаживаюсь на корточках перед танкистом. У него серое, плохо различимое от слабого света лицо. Глаза лихорадочно блестят. У него перебинтованы грудь, обе ноги. На бинтах темные пятна крови. Дыхание тяжелое.

— Не узнаешь? — спрашивает он.— Ведь ты тогда это написал?

Он раскрывает сумку, достает аккуратно сложенный номер газеты «Доброволец» и протягивает мне. Я развертываю небольшой газетный лист и читаю крупный на всю полосу заголовок: «Учись стрелять с ходу!»

Это моя газетная полоса. На полигоне под Москвой проводили учения по стрельбе из танков с ходу. В газете — несколько заметок танкистов, которые особо отличились на этих учениях.

— Вспомнил? Внизу моя заметка.

Я нахожу ее и читаю подпись: командир экипажа лейтенант Краморов.

— С ходу мы сегодня и били немца,— говорит Краморов.— Ну, а когда подбили нас — в траншеях дрались. Мы машину сразу не бросили, только после четвертой пробоины. Слушай!.. — он сде-

лал попытку приподняться, но тут же, застонав, опустился.— Водителя Переслегина в руку ранило. А он продолжал вести машину. Хороший механик. С ним любой командир будет воевать. Боевой парень! Машина горела, а он все еще пытался ее спасти. Последним из танка ушел. Обязательно напиши о нем. Да и узнай, где все ребята. Что с ними? Не помню, как меня вынесли...

Он устало закрыл глаза, словно в разговор со мной вложил остатки сил. Подошла сестра, вытерла ему лоб мокрым полотенцем, постояла и направилась к другим раненым.

Я тихо отошел от Краморова.

В алтаре началось оживление. Куда-то уходили офицеры, связисты торопливо собирали свое хозяйство. Возле церкви зафырчали заводимые машины.

Кто-то рядом сказал:

— Вышибли немцев... Двигаемся дальше... Железную дорогу перерезали.

Я разбудил Сережу, и мы вышли с ним на улицу. Ночь кончалась. От реки по дороге, огибавшей церковь, двигалась колонна пушек. Со всех сторон слышался шум заводимых машин. Мы оставляли эту деревню.

Через час мы с Сережей вернулись в эту церковь. Она опустела, все штабники ее покинули, а санитарные машины вывезли раненых. Справа на полу странно одиноким лежал лейтенант Краморов. Мертвый...

Только на войне можно увидеть массовое физическое страдание людей, еще несколько часов назад бывших здоровыми, сильными, полными жизни. Но только на войне я видел, каким терпеливым, стойким и сильным духовно может быть человек. С удивительным мужеством солдаты и офицеры переносили боль и страдание. Раненые, изувеченные пулями и осколками, потерявшие кровь, они словно продолжали оставаться в строю тех, кто сражался.

На попутной машине мы ехали с Сережей Александровым по измятой танками и колесными машинами дороге, где ночью шел бой, поспешая вслед за нашими стремительно наступавшими частями, за уральскими танкистами, сделавшими за одну ночь рывок в пятнадцать километров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ЗА БАЛХАШСКИМИ СОКРОВИЩАМИ

Три года Карагандинский городской клуб следопытов совершал велосипедные походы по Центральному Казахстану. Материалы, собранные в этих походах, и легли в основу этого очерка.

Встреча в самолете

Наш самолет «ИЛ-18» летел по маршруту Ленинград — Караганда — Алма-Ата. Медленно проплывали внизу обширные степи северного Прибалхашья. Мы прильнули к иллюминаторам, стараясь сверху отыскать знакомые места. А потом начались воспоминания. Ведь мы проехали тысячу километров по Центральному Казахстану, блуждали по горам Кент в поисках развалин загадочного буддийского храма «Кызыл-Кениш», принимали «лечебные» грязевые процедуры в озере Туз-Коль, рыбачили ночью на Балхаше, встречались с археологами, строителями, горняками, металлургами. Вели записи.

Каждому такому путешествию по родному краю предшествует кропотливая работа: в библиотеках, архивах мы изучали историю, географию, памятники природы и немало интересного узнали о первой карте озера Балхаш.

...Сотни лет озеро либо совсем отсутствовало на картах, либо изображалось весьма произвольно. Невольным «ви-

новником» того, что в XVII веке его нанесли на карту, был Петр Первый. «Прорубая окно в Европу», он также искал путь ко всем азиатским странам со стороны киргизских и туркменских степей. В 1715 году царь снарядил из Сибири в глубь Азии экспедицию Бухгольца. Но через год все ее участники были захвачены джунгарами. В числе пленников оказался и швед И. Ренат, он сражался с русскими войсками под Полтавой и был послан после окончания войны в Тобольск. Ренат пробыл в плену у джунгар семнадцать лет. За время кочевок он хорошо изучил Джунгарию, а в 1723 году, когда джунгарский властелин Галдан-Цырен покорил старший и средний казахские жузы, Ренат познакомился с центральной и восточной частями Казахстана.

Вернувшись в Европу после многолетних скитаний, Ренат в 1728 году составил карту, которая им была названа «Калмыки и подвластные им коттоны или жители Восточного Туркестана». После смерти исследователя единственный экземпляр ее утеряли и обнаружили снова только 150 лет спустя в шведском городке Лингопинге.

В 1881 году «Карту Джунгарию» Рената издали в России. Она стала настоящей сенсацией для географов, так как более точно представляла Джунгарию и Казахстан, чем известный атлас Средней Азии, выпущенный Клапротом в Париже почти на 90 лет позднее. Долгое время карта приковывала к себе внимание ученых — ведь судя по ней исследователь побывал в горах Тянь-Шаня и на озере Иссык-Куль. Правда, некоторых смущало одно обстоятельство: Ренат, образованный и культурный человек, прекрасно понимавший всю важность изучения совершенно незнакомой европейцам страны, не оставил никаких запи-



сок. Все стало ясным, когда географы обнаружили монгольский подлинник карты, с которого, очевидно, Ренат сделал копию и выдал ее за оригинал.

Из русских путешественников первым у берегов озера Балхаш побывал майор Миллер. Он совершил переход из Орска в 1743 году. Спустя более чем сто лет сюда прибыла экспедиция прапорщика Нифантьева из Омска. Нифантьев доказал возможность судоходства на озере и составил относительно точную карту.

В 1884 году исследовал Балхаш и дал первое описание фауны озера А. М. Никольский. В 1903 году исследовал Балхаш географ Лев Семенович Берг.

...Самолет летит над городом Балхаш. Видны ровные улицы, шапки деревьев, гигантские корпуса завода. Ослепительно сверкает в лучах солнца озеро.

Наш сосед тоже включается в разговор.

— Значит, следопыты вы?

— Да, вот уже пять лет путешествуем по родному краю, собираем материалы, связанные с историей развития индустриализации Центрального Казахстана.

Так завязалась беседа с кандидатом геолого-минералогических наук, сотрудником Казахского института минерального сырья Владимиром Григорьевичем Боголеповым.

— Тогда вам небезынтересно будет познакомиться с книгой Николая Ивановича Наковника «Охотник за камнями». Автор ее, мой старший товарищ и учитель, — один из первооткрывателей некоторых месторождений в Центральном Казахстане. В книге он сумел поведать о работе геологов, полной романтики, приключений, — сказал Владимир Григорьевич. — Впрочем, послушайте.

И вот что мы записали.

Охотник за камнями

...Летом 1930 года по желтосерой пустыне северо-восточного Прибалхашья двигался небольшой экспедиционный отряд ленинградских геологов. Трудный, безводный маршрут лежал к таинственным Саяк-

ским сопкам, где, по слухам, находились древние медные копи — «кень-казган». Местные старожилы уверяли, что еще никто не мог достигнуть их дна, хранившего золотой клад, спрятанный разбойниками-дунганами после ограбления буддийского монастыря в горах Джунгарского Ала-Тау. Но на географо-геологических картах Казахстана Саякский район был представлен лишь... белым пятном.

Дело в том, что в каменистое, безводное урочище Саяк еще не рискнул отправиться ни один европеец путешественник, обследовавший ранее берега Балхаша. А если добавить, что вдоль побережья бродили шайки неуловимого предводителя балхашских басмачей Ашкера, то становилось понятным тревожное состояние начальника отряда Н. И. Наковника. Это был первый год самостоятельной работы молодого геолога.

В Центральный Казахстан Н. И. Наковник попал еще в 1924 году, когда вместе с геологом И. С. Яговкиным обследовал рудные месторождения в верховьях рек Джаксы-Сарысу и Джаман-Сарысу. Через два года во время каникул он участвовал в экспедиционных отрядах М. П. Русакова. Именно ему первому удалось обнаружить около сопки Семиз-Бугу «синий камень» — корунд. Месторождение абразивного материала, выделяющегося своей исключительной твердостью, оказалось одним из крупнейших в мире. Довелось Николаю Ивановичу работать вместе с М. П. Русаковым и на разведке Коунрадского медного месторождения и строительстве рудника.

И вот теперь ему предстояло разыскать неуловимый, как мираж в пустыне, древний рудник Саяк. С помощью проводников казахов Сарчолоака Едигеева и Сейкумбая Торубаева отряд Николая Ивановича благополучно достиг древних медных копей, произвел глазомерно-топографическую съемку района и попробовал оценить Саякское месторождение. А богатства его оказались действительно сказочными. Сейчас разведчики недр определили, что медные жилы Саяка тянутся в глубь земли на несколько сотен метров, а в

длину на добрый десяток километров. Там, где когда-то пробирался на двух тележках отряд геологов, пролегли теперь стальные пути железной дороги. Согласно решениям XXIII съезда партии, к 1970 году Саякский рудник станет крупнейшим центром добычи медной руды в Казахстане и основной сырьевой базой Балхашского горно-металлургического комбината.

— Думаете, Н. И. Наковник успокоился на достигнутом? — продолжал свой рассказ В. Г. Боголепов. — Уже в 1934 году неутомимый исследователь открыл неподалеку от Коунрада месторождения промышленной вольфрамовой руды — Восточный Коунрад. Затем, в течение пяти лет Николай Иванович руководил специальной экспедицией Академии наук СССР по исследованию пассивов вторичных кварцитов Центрального Казахстана. И снова геологи добились блестящих результатов. Обнаружены около десятка месторождений глиноземного сырья, Акчатаусское и Каркаралинское месторождения редких металлов. В 1952—1953 годах Н. И. Наковник возглавил кафедру петрографии Казахского университета.

С тех пор наш попутчик часто встречается с профессором Наковником. Вот и теперь он побывал у него и получил в подарок книгу «Охотник за камнями», над которой Николай Иванович работал последние десять лет.

Семья Амосовых

В этой книге нас заинтересовала фамилия — Амосов Павел Григорьевич, русский инженер, «долго жил на Балхаше с казаками, лечил их, научил вязать сети, коптить рыбу». Где-то мы уже с этой фамилией встречались? Кажется, в записках Семипалатинского отделения Русского географического общества? Проверили. Точно. В пятнадцатом выпуске записок за 1925 год автор Сарычев упоминает, что пионером освоения рыбных богатств озера был П. Г. Амосов. Написали мы Н. И. Наковнику. 27 июня 1967 года пришел ответ,

«Горячо советую взяться за благороднейшую тему о П. Г. Амосове, его сыне Георгии Павловиче — о всей этой во всех отношениях достойнейшей русской семье, заброшенной в 1917 году на дикий берег Балхаша. Члены этой семьи были не только первыми культуртрегерами в Северном Прибалхашье. Именно межевой инженер Павел Григорьевич Амосов первый оценил промышленное значение меднорудного поля на Коунраде, передал это своему сыну. Отца я не знал (он умер в 1926 году), а со старшим сыном — Георгием, кратко обрисованным в очерке «Ашкер», встречался не один раз и беседовал»...

Оказалось, что живы сейчас дети Амосова. Мы разыскали их адреса, написали им, встретились с младшей дочерью Галиной Павловной, у которой хранятся все семейные реликвии. Среди них — фотографии Павла Григорьевича в год его приезда в Казахстан. С любительского снимка смотрит на нас молодой темноволосый человек в форме инженера переселенческого управления. В результате переписки, бесед мы узнали, что Павел Григорьевич Амосов родился в 1880 году, в Гатчине. Любовь к природе, унаследованная в семье потомственных охотников, привела его в Петербургскую сельскохозяйственную академию. Вторым дипломом он получил после окончания Константиновского межевого института.

В Казахстан Амосов прибыл в 1908 году по распределению и работал в переселенческих управлениях Акмолинской, Петропавловской и Семипалатинской областей. В 1910 году в урочище Чалобай Кокпектинского уезда он создал племенную животноводческую ферму, так называемый «рассадник скота киргизской породы». Это было одно из первых хозяйств подобного типа в Казахстане, занимающегося улучшением породы крупного рогатого скота. Отсюда в 1916 году Амосов был мобилизован военным ведомством в армию. Служить ему не позволило здоровье, и он остался работать в Семипалатинском продовольственном комитете.

В начале 1917 года Амосов организовал научную экспедицию по исследованию озера Балхаш. Вместе со специалистами



Николай Иванович Наковник в геологическом маршруте. 1929 год.

ми в ней участвовали заядлые охотники-любители А. В. Соболев и Д. Н. Мясников. Экспедиция прошла северным берегом Балхаша от теперешней Саякской пристани до залива Сары-Шаган.

Вскоре Павла Григорьевича снова отправляют на Балхаш организовать охотничьи бригады по заготовке рыбы и кабанов. В декабре 1917 года он вместе с женой Глафирой Николаевной и четырьмя детьми покинул Семипалатинск. Предстоял длинный тяжелый путь санным и вьючным обозом на Балхаш через Каркаралинск. Из-за буранов и бездорожья небольшой отряд рыбаков и охотников достиг берега озера только в марте 1918 года. Здесь, на небольшом полуострове

Джартас, в 25 километрах к западу от современного города Балхаш, построили несколько саманных зимовок. Все лето и следующую зиму заготавливалась рыба и кабанов, но транспортировать их удалось только два раза, и то до Каркаралинска. В казахских степях бушевал огонь революции, пути сообщения были нарушены, и о маленькой группе рыбаков и охотников на Балхаше позабыли.

Часть рабочих покинула Балхаш, и на зимовке Джартас остались две русские семьи — Амосовых и Бойко. Около них стала собираться казахская беднота — джатаки. Организовали небольшую артель по ловле рыбы и постепенно стали снабжать ею население побережья.



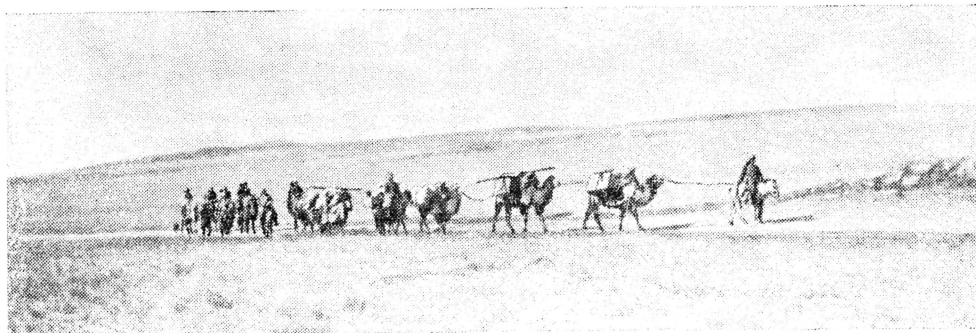
Павел Григорьевич Амосов.
1917 год.

Среди казахов Амосов пользовался большим авторитетом. К нему шли советоваться, просить помощи, просто поговорить или полечиться у фельдшера Глафиры Николаевны. Как ни тяжела была жизнь на берегу, Амосовы не отказывали казахам ни в чем, хотя сами существовали за счет рыболовного и охотничьего промысла. Русская семья, почти единственная на северном берегу Балхаша в двадцатые годы, если не считать приказчика купца Кошелева и чудаковатого русского отшельника Афанаса на одном из островов озера, очень раздражала местного богатея Ахмета Кубултаева.

— Они не наши,— не раз говорил он казахам.— Места им здесь нет. Пусть уходят.

— Нет,— рассуждали бедняки,— разве можно осуждать русского за его доброту. С ним мы всегда сыты, научились рыбачить, а плохо или хорошо, что «орыс тамыр» (русский

Когда Советская власть пришла в Каркаралинский уезд, Павлу Григорьевичу в 1921 году поручили организовать одно из первых в уезде животноводческих хозяйств в урочище Каракула на реке Токрау. Через три года он разработал проект крупного рыбоводческого хозяйства. Семья снова поселилась на берегу озера, в урочище Талтуп. Еще сейчас в восьми километрах к юго-востоку от города Балхаш можно видеть остатки последнего зимовья Амосовых. Отсюда Павла Григорьевича перевели на работу в Каркаралинск управляющим животноводческой фермой Актерек. Здесь 10 марта 1926 года он скончался от крупозного воспаления легких. Его единственный научный труд «Хозяйственно - экономические нужды и задачи Каркаралинского уезда» был напечатан после смерти в журнале «Народное хозяйство Казахстана» (№ 3 за 1926 г.).



По пути к озеру Балхаш.



Георгий Амосов.
1930 год.

друг) охотится на диких свиней,— пускай рассудит на том свете аллах.

За три года жизни на Балхаше Павел Григорьевич вел регулярно метеорологические наблюдения, следил за миграцией птиц, собирал сведения о растительном и животном мире.

В 1919 году в его дневнике появляется запись о медном месторождении Конур-Ат (теперешний Коунрад), на которое он наткнулся во время охоты и которое уже было известно местным жителям. К тому же он уже знал, что недалеко от Коунур-Ата на побережье есть свинцовые руды Гульшада и Кызыл-Эспе. Восторженно отзывается он в своем дневнике о будущем этого края.

Открытие Коунрада

Этим же летом 1926 года покой города, безмятежно дремавшего у подножья лесистых сопок, едва ли не впервые за всю его столетнюю историю был нарушен треском и шумом автомобиля. В Каркаралинск прибыла с оборудованием машина из Ленинградского геологического комитета. Возглавлял поисковые работы М. П. Русаков. На АМО-Ф-15 помощником к шоферу Валерьяну Лукьяновичу Пономареву приняли двадцатилетнего Георгия Амосова, сына Павла Григорьевича. Он прекрасно знал мест-



Участники экспедиции геологического комитета в Центральном Казахстане. 1925 год.

ность и обычаи населения, в совершенстве владел казахским языком.

Уже в следующем году Георгий освоил буровую технику и работал мастером в горах Беркара. От него М. П. Русаков услышал однажды о медных рудах в урочище Конур-Ат, неподалеку от залива Бертыс. Михаил Петрович заинтересовался сообщением, стал бывать в доме Амосовых, а осенью 1927 года перед отъездом в Ленинград взял с собой дневники Павла Григорьевича.

Листая страницы пяти толстых тетрадей, он увидел, сколько ценных сведений о природе далекого, еще совершенно неизученного края оставил этот человек.

Особенно его внимание привлекли записи Амосова о медных рудах Конур-Ата. Интересно, что, еще не посетив месторождения, Русаков в 1927 году в своем докладе на втором Всесоюзном совещании по цветным металлам уже упоминает Коунрад.

В середине августа 1928 года маленький отряд Русакова с рудника Беркара выступил на юг. Предстоял путь к месторождению Конур-Ат. Позднее Георгий Амосов писал: «Я был приглашен в качестве проводника... Возчиком до Бертыса был нанят житель Беркарин-

ской волости Оспан Алданазаров. Так как мне было поручено найти лошадей для продвижения, я выехал в Балхашскую волость и догнал экспедицию у колодца Ахмет-Бас. Утром на следующий день М. П. Русаков, инженер Сергиев, студент Полкопин, Сарычев, я и Смагул Джемантаев направились на Коунрад...»

А Николай Григорьевич Сергиев вспоминает:

«Подъехав к сопкам и оставив лошадей внизу, мы для ориентирования поднялись на одну вершину. Нашим глазам представилось грандиозное, незабываемое зрелище. Вдали на юге виднелась синева Балхаша, а внизу под нами лежала громадная площадь с явными признаками оруденения, заметными даже издали...»

Великолепный оценщик рудных залежей и крупнейший знаток медных месторождений Казахстана М. П. Русаков, уже буквально «с первого взгляда» убедился в гигантских запасах Конур-Ата.

Михаил Петрович уже ясно представлял, как отсюда, с берегов Балхаша, устремятся во все уголки страны потоки меди, которым суждено победить «медный голод» России. И как скоро, очень скоро здесь будет город, большой город металлургов.

Следопытские дела

По боевому пути батальона, в котором сражался Александр Матросов, провели поход ижевские школьники. Они побывали в Уфе, где жил и учился Саша, в Великих Луках, в деревне Чернушки, где он погиб.

А учащиеся 8-го Великолукского профессионально-технического училища имени Матросова в день 25-летия гибели героя украсили зимой живыми цветами заснеженную поляну у обелиска в Чернушках.

* * *

Ленинградские старшеклассники выезжали под Псков, туда, где в 1918 году был дан отпор немецким войскам и возникли первые отряды Красной Армии. В районе реки Черехи школьники-комсомольцы провели военную игру, в которой приняли участие и советские воины.

Ленинградцы привезли немало материалов по истории Красной Армии, ставших основой общественного музея. Он создается на месте первых февральских боев 1918 года.

* * *

Студенты Казанского университета начали свой поход с деревни Кокушкино, в которой жил Ленин в 1887 году. Они прошли по нефтяным районам Татарии и завершили его в Ульяновске. В пути студенты проводили беседы о Владимире Ильиче Ленине и давали концерты в колхозах и совхозах.

* * *

По местам боев гражданской войны на Южном Урале прошли 30 молодых рабочих Ашинского металлургического завода. У памятника героям боев за Советскую власть, установленному близ разъезда Казаяк, состоялся комсомольское собрание, на котором приняли в комсомол двух участников похода.

ПОЭТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

А завтра
землю луч разбудит
И снова выпрямятся лозы.
А грозы...
Гроз уже не будет.
Уходят вместе с летом грозы.

Ольга Мухина

* * *

Это пудра бела,
Я-то смуглая.
Уж такая была —
Вечно трудная.

Алла Борисова

УЛЫБКА

В птичий гомон,
в бездонье рассвета,
В непросохшие лужи у рынка,
Ни одним соловьем не воспета,
На дорогу упала улыбка.
Уронил ее мальчик курносый,
Из окна еще сонного дома,
Потому что прозрачная просинь
У земного легла окоема.
Будто лист, подгоняемый ветром,
По рассвету улыбка скользила,
И в скольженьи ее неприметном
Крылась радости добрая сила.
Влажных трав она трогала пальцы
И кленовые жесткие звезды.
Белоснежную гордость акаций —
Их гудящие пчелами грозди.
То скользила по сумрачным лицам,
То сжималась застенчиво, зыбко,
То спешила в луче раствориться.
И улыбка встречала улыбку.

* * *

Весь мир кружился в вихре листьев,
И тучи двигались могуче.
Ушла гроза.

Глядит по-лисьи
Луна ущербная из тучи.
За тридевять земель ковыльных
Трепещут синие зарницы,
Как будто огненные крылья
Моей,

непойманной жар-птицы.



В ДЕРЕВНЕ

Что мне море огня,
Буря пыльная.
Не пугайте меня —
Я ведь сильная.
По любому пройду
Месту гиблому
И дорожку найду —
Я ведь гибкая.
По зеленым лугам
Ранью раннею,
Босиком по камням —
Я упрямая.
Пусть тропа на углу
Змейкой крутится,
Не собьюсь, пробегу —
Я ведь умница.
Заплету всю тропу
Корневищами,
Убегу, а потом
Не доищешься,
Уплыву по воде
Серой утицей,
Будешь кликать везде,
Будешь мучиться.
И ищи, и лови
Ветра в полюшке.
И тогда не зови
Ольги, Олюшки...

Здесь тихо, здесь нет электричек,
Поют по утрам петухи.
И мне наливают отличной,
Со звездочками, ухи.
А ложку уронишь — примета,
Хозяйка руками всплеснет
И скажет лукаво при этом:
— Какая-то гостья придет.
Придет ли? И, правда, приходит.
И сердце сожмется в груди...
А ходики ходят и ходят,
Но так и не могут уйти.
Да кот на высоком пороге
Опять намывает гостей...
Пусть торными будут дороги
На этой далекой версте.
Пусть будет всегда дорога нам
Умытая свежесть полов,
Медовая брага в стаканах,
И старая песня сверчков.
Как дороги летние ночи,
И крики кукушек лесных,
И самые ясные очи,
И самые светлые сны!

Александр Соловьев

ПРЯМУШКА

Бежит от порога к порогу,
Прямая как будто струна,
Тропинка — еще не дорога —
Прямушкой она названа.
Ее перепашут прилежно,
Табличку воткнут: «Не ходи!»
Но утром по пахоте свежей
Опять — за следами следы.
Поставят заборы, что горы.
Загнут, чтоб не выдернуть, гвоздь.
С разбега и эти заборы
Она пробивает насквозь.
Кому торопиться не нужно —
Пожалуйста, можно в обход.
Но я выбираю прямушку —
Меня мое время не ждет.





Помните у Маяковского:

...встретить я хочу
 мой смертный час
 так,
 как встретил смерть
 товарищ Нетте?

Февральским утром 1926 года, когда Нетте сразила вражеская пуля, в одном с ним купе находился еще один дикпурьер, Иоганн Махмасталь, — тоже эстонец...

Я встретился с сыном Иоганна Махмасталья, Львом Иоганновичем, сухощавым, небольшого роста, пожилым человеком. Он провел меня в просторную комнату. На стене увидел я портрет Махмасталья. Прочел начертанные размашистым почерком слова: «На память любимому сыну от отца — партизана-краснознаменца, коммуниста. 24.XI.36. Махмасталь».

— Я ведь и сам долгое время многого не знал об отце, — сказал мне Лев Иоганнович. — Уже в конце войны, когда моя зенитная часть стояла под Таллином, разыскал меня брат отца — Адольф. Кстати, он тоже в Москве живет, на проспекте Мира...

И вот — новая встреча.

— ...Жили мы в Нарве, — вспоминает Адольф Адамович Махмасталь. — Там родились и я, и Иоганн. Отец был кузнецом на «Кренгольмской мануфактуре», мать славилась как искусная ткачиха.

Зимними вечерами собирались мы у жарко натопленной печки, мать читала нам сказки. Летом она прятала в этой же печке книги, — конечно, не те, что читала нам, а тоненькие, потрепанные брошюры без картинок. Их приносил родственник — веселый, никогда не

унывавший столяр. Наша убогая комнатка в рабочей казарме была тайником нелегальной литературы.

Стали и мы с Иоганном рабочими людьми. За участие в забастовках Иоганн попал в «черный список» и вынужден был уехать в Питер.

В ту пору, в самом начале первой мировой войны, на питерских заводах работало немало наших земляков. Они помогли Иоганну на первых порах. К тому времени, когда перебрался в Питер и я, у брата уже было много друзей — и эстонцев, и русских.

1917 год Иоганн Махмасталь встретил на Выборгской стороне. Работали мы на «Новом Леснере». Действовала там крепкая большевистская организация. Под ее руководством сформировался на заводе отряд Красной гвардии. Вступили в него и Иоганн, и я. Вместе на заводском дворе учились стрелять из винтовки. Вместе охраняли цехи.

Апрельским утром встречали Ильича на перроне Финляндского вокзала, стояли с другими красногвардейцами в карауле, потом сопровождали Ленина во дворец Кшесинской, где помещались Центральный и Петербургский комитеты партии.

А третьего июля Иоганн шел в рядах демонстрантов, неся в руках алый стяг со словами: «Вся власть Советам!», и на углу Невского проспекта и Садовой попал под обстрел.

Четыре месяца спустя Иоганн, уже став членом большевистской партии, по сигналу с «Авроры» штурмовал Зимний дворец...

«После Октябрьского переворота Иоганн Махмасталь был переброшен в Эстонию для организации в Нарвском районе Красной гвардии. Во время наступления немцев в 1918 году на Нарвский район организовал там партизанский отряд и в одном из боев против немцев получил штыковую рану в левую руку. В том же восемнадцатом с частью своего отряда был переброшен на Архангельский фронт, где был назначен военкомом 156-го и 157-го полков. В одном из боев против интервентов был контужен. С Архангельского фронта был переброшен на должность комбрига 2-й бригады Эстонской дивизии. В 1919 году принимал участие в боях на Украине против Деникина, до полного его разгрома. Там же участвовал в ликвидации банд Махно...»

Это выписка из архивного документа.

— А знаете ли вы, — спросил у меня Адольф Адамович, — кто был спутником Иоганна по фронтам гражданской войны? Жена его, нарвская ткачиха Прасковья. Сына — был он тогда мал — оставили у родных. Сами же не разлучались ни на день.

Когда отгремела гражданская война, ушел Иоганн на новый фронт. «С 1921 по 1923 год, — гласит все тот же архивный документ, — был Махмасталь в органах ВЧК и ОГПУ на оперативной работе».

Итак, стал чекистом эстонский рабочий. Кто же помнит его по тревожной той поре? Розыски привели меня в Таллин. И здесь встретился я с членом партии с 1917 года Р. Маяком, старым чекистом.

— Жили мы с Махмасталем в одном общежитии, — сообщил он. — И я встречался с ним каждый день. Работал Махмасталь в особом отделе, боролся с контрреволюцией...

Еще одна строка из архивного документа: «В 1923 году И. Махмасталь был переброшен на работу в НКВД». Эту строку комментирует один из первых сотрудников Наркоминдела Август Умблия:

— К тому времени, когда в Наркоминдел пришел Махмасталь, я был уже старым сотрудником наркомата. Через мои руки проходила официальная переписка, свидетельствующая о намерениях западных держав вмешиваться во внутренние дела Советской страны. В печати появился ультиматум Керзона, усиливший во всем капиталистическом мире анти-советское движение. В Лозанне убили советского представителя Воровского.

Быть дипкурьером в тех условиях мог лишь человек мужественный и беззаветно преданный революции. Махмасталь колесил по всей планете. Возил дипломатическую почту в Афганистан, в Скандинавию, в Австрию, Италию, Болгарию, Грецию, Польшу, Иран. А однажды, морозным февральским утром 1926 года...

«В двух часах езды от Риги, на перегоне Икскюль — Саласпилс, на советских дипкурьеров Нетте и Махмастала, ехавших через Ригу в Берлин с дипломатической почтой, было совершено организованное вооруженное нападение. Во время перестрелки курьер Нетте был убит, а курьер Махмасталь, защищавший диппочту, тяжело ранен тремя пулями. Двое из нападавших убиты защищавшимися курьерами, остальные двое скрылись. Почта внешне осталась целой и принята полпредством СССР в Риге. По делу начато следствие».

Это — газетное сообщение. А в Архиве внешней торговли СССР я обнаружил рассказ самого Махмастала, записанный с его слов в Риге, в клинике, куда его доставили тяжело-раненого.

На протяжении всего пути из Москвы до Латвии, рассказывает Махмасталь, двери купе, в котором находились дипкурьеры, были открыты. В купе без конца заглядывал проводник.

— Что ему нужно? — недоумевал Нетте. Проводник всякий раз находил причину: то ему надо было проверить вентиляцию, то убедиться в исправности лампы.

А часа в четыре утра кто-то прошел по крыше из конца в конец вагона.

Когда поезд отходил от Икскюля, Нетте спал на верхней полке. В коридоре, у двери купе, стоял Махмасталь. И вдруг в конце вагона раздался крик.

Первым побуждением Махмастала было броситься на помощь. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как увидел мужчину в маске, с револьвером в руке. Рядом с ним был проводник.

«Тогда я бросился обратно в купе и крикнул Нетте: «Бандиты в черных масках!» Взяв со столика у окна два маленьких маузера, я один из них передал Нетте... Я стоял у окна, спиной к левой стене купе. В купе одним прыжком вскочил бандит и направил на меня браунинг... Нетте выстрелил в бандита, и тот присел на нижнее сиденье. Мне казалось, что Нетте его ранил или застрелил».

Появился второй бандит. Он также был в маске. И у него был в руке пистолет.

«Первый бандит, сидя на нижней полке, прицелился в меня. Я первый выстрелил в него два раза. Думаю, что попал в него, ибо лицо его изменилось».

Не знал еще Махмасталь, что уже не было в живых Теодора Нетте. «После моих выстрелов бандит, стоявший в дверях, ранил меня в правую руку. Сидевший на сиденье, раненный мною и Нетте, первый бандит выстрелил в меня еще два раза и выбежал из купе. Мой револьвер выпал из руки, и, когда я его поднял, второй бандит выстрелил в меня и попал в правую сторону живота. Тогда я выстрелил левой рукой во второго бандита в крайнем мере два раза, целясь ему в грудь или выше. После этих выстрелов он вскрикнул и ушел. Всего по обоим бандитам я выстрелил 9 раз, израсходовав все патроны. Я опустился на колени и ждал нападения еще кого-нибудь на купе. С верхней полки на меня упал Нетте. Он был мертв. Нетте повалил меня на пол головой в сторону коридора... Тогда я увидел в дверях третьего человека, тоже с маской на лице и револьвером в руке. Ничего не сказав и ничего не сделав, он, вздохнув, ушел...»

...Первого секретаря посольства Баркуевича, исполнявшего обязанности поверенного в делах СССР в Латвии, разбудил вахтер:

— Убиты курьеры, ограблена почта!

И несколько минут спустя через Ригу, над которой только начинала занимать заря,



Игнатий Махмасталь,

пронеслась машина с советскими дипломатами. Они выскочили из нее у вокзала и прошли по перрону к стоящему на путях составу.

Сотрудники посольства поднялись в вагон, где незадолго до того разыгралась ожесточенная битва. О том, что увидели они там, сообщил в Наркоминдел Баркусевич:

«В купе на полу, как он был раздетый, в одной рубашке, труп бедного Нетте, залитый кровью. Кровью залиты стены купе и чемоданы с дипломатией... Завернутый в одеяло, съевшийся тов. Махмасталь, который при моем приближении закричал: «Не знаю, не подходи к почте, убью»... Едва удается его успокоить, причем до приезда Шеншева, которого он знает лично, он не сдает почты. У меня нет слов для описания героического поведения обоих товарищей как павшего, так и живого, сумевших отбиться в полусонном состоянии от неожиданно напавшей банды разбойников и спасти почту... Обращаю Ваше внимание на поведение тов. Махмастала, который, несмотря на тяжелые ранения, не только сумел отстоять почту, но, сберегая ее до конца, не отдал ее даже мне, так как не знал в лицо».

Я вновь отправился к Августу Умблия. Может быть знает он, кто такой Шеншев?

Умблия подошел к телефону, набрал номер и, улынувшись, передал мне трубку:

— Говорите с Владимиром Осиповичем Шеншевым.

Большая жизнь оказалась за плечами этого старого человека.

— С Махмасталем. — сказал мне уже позднее, при встрече, Шеншев, — мы виделись в короткие промежутки между его поездками то в Иран, то в Афганистан, то в Данию. Затем меня направили генконсулом в Латвию, и долгое время нам не доводилось встречаться. Но, что я в Риге, — Махмасталь знал. Ни с кем из сотрудников советского посольства

лично не знакомый, опасаясь новых провокаций, он решительно заявил, что только мне передаст дипломатическую почту. Я принял ее из рук человека, изрешеченного пулями и лишь огромным усилием воли сохранившего сознание.

С вокзала Махмасталь доставили в клинику. В одиннадцать часов утра, спустя шесть часов после ранения, Махмасталь сделали первую перевязку. «При нем. — телеграфировали наркому Чичерину, — постоянное дежурство сестры и товарищей». Одним из этих товарищей был Шеншев.

— Махмасталь все спрашивал, — вспоминает Владимир Осипович, — не установлено ли, кто были убийцы. Когда к нему в клинику явился судебный следователь, он припомнил все детали бандитского нападения. Но латвийские власти делали все возможное, чтобы замести следы преступления. И Советское правительство вынуждено было указать на то правительству Латвии.

Первой же почтой в Ригу доставили приказ № 22 народного комиссара по иностранным делам Г. В. Чичерина. «Коллегия Народного комиссариата по иностранным делам, отмечая исключительное сознание своего революционного долга и героическое поведение тов. Нетте и Махмастала, — говорилось в этом приказе, — постановила возбудить перед Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических Республик ходатайство о награждении тов. Нетте и Махмастала орденами Красного Знамени... Коллегия выражает твердую уверенность, что героизм и высшее сознание революционного долга, проявленные на служебном посту тов. Нетте и Махмастала, будут всегда примером для всех работников Народного комиссариата по иностранным делам».

М. М. Литвинов назвал Нетте и Махмастала «провозвестниками мира на западе, того мира, который есть основа советской политики». Газеты публиковали портреты дипкурьеров, корреспонденции о славной гибели Теодора Нетте, о героической стойкости Иоганна Махмастала. А в Наркоминдел нескончаемым потоком отовсюду шли письма и телеграммы.

Своеобразное приветствие пришло из Лондона. Это были часы, на крышке которых друзья выгравировали слова: «Товарищу Махмасталу — стойкому коммунару — от группы членов ВКП Лондонской ячейки».

— Я увидел эти часы у него, приехав с матерью в Ригу, — вспоминает сын героя. — Правая рука отца, покалеченная в схватке, еще висела на перевязи. Он был взволнован приветствиями, взволнован и тем, что наградили его орденом Красного Знамени.

Махмасталь возвращался в столицу, еще не оправившись от ранений. В Москве к приходу поезда перрон заполнили друзья, сотрудники Наркоминдела. Они тоже вручили герою подарок. Когда Махмасталь открыл деревянный футляр, в нем оказался маузер. С волнением прочел дипкурьер сделанную на боевом оружии прочувствованную надпись:

«Тебе, достойно встретившему и отразившему удар врага, верному защитнику интересов рабоче-крестьянского правительства, преподносим мы, товарищи по работе, это оружие. Твой подвиг — пример нам».



* * *

Через некоторое время вновь отправился Махмасталь с дипломатической почтой за рубеж. А затем назначили его одним из руководителей отдела дипкурьерской связи, послали на ответственную работу в Турцию.

Однако сказались, в конце концов, раны, полученные в битве с бандитами. Еще молодым вынужден был Махмасталь уйти на пенсию.

— Я помню первые дни войны. — говорит его сын. — Отец рвался на фронт. Ходил в военкомат. Ходил в Политуправление РККА, где стоял на учете. Но был он настолько болен, что ему всюду категорически отказывали. И отец уехал с матерью в село Багаряк Челябинской области. Тяжело переживал он, бывший военком бригады, свое вынужденное пребывание в глубоком тылу. Он умер там, в Багаряке, 2 февраля 1942 года.

Уральские следопыты взялись разыскать могилу дипкурьера. И вот пришло ко мне письмо. Из него я узнал о том, что отыскиали могилу пионеры Багарянской средней школы № 4, что на собранные ими деньги воздвигнут на ней памятник.

...Ныне мощные океанские лесовозы носят имена героев-дипкурьеров. И за много миль от родных берегов встречаются «Иоганн Махмасталь» и «Теодор Нетте».



В. О. Шеншев (слева) и сын Иоганна Махмасталя — Л. И. Махмасталь.

А. ЛЮБАРСКИЙ

ТЕЛЕВЫШКА ПЕРЕЕХАЛА

Зимой жители города нефтяников Бугуруслана были свидетелями удивительного зрелища. На огромных санях, которые тащили почти два десятка мощных тракторов С-80 и С-100, чуть покачиваясь, двигалась в гору... 109-метровая вышка телевизионного ретранслятора.

Зачем же понадобилось стальному великану отправляться в путешествие?

Несколько лет назад на высоком берегу Кинеля смонтировали телевизионную вышку, и бугурусланцы стали смотреть передачи из Куйбышева. Но из-за большой дальности — почти 180 километров — ретрансляционная станция не могла гарантировать уверенный прием.

Поэтому, когда построили мощный телецентр гораздо ближе — примерно в ста с небольшим километрах — в го-

роде Лениногорске в Татарии, было решено принимать передачи оттуда. Но тут на пути встала серьезная помеха — между Бугурусланом и Лениногорском протянулась холмистая гряда. Надо было вышку поднять. Такая точка нашлась в северо-западной части города, в двух километрах от места, где стоял ретранслятор. Но когда прикинули, оказалось, что на демонтаж, перевозку конструкций и монтаж уйдет полгода, а то и больше. Так долго оставаться без телевидения? И тогда приняли смелое решение — перевезти стальную машину целиком. И вот на площадку пришли монтажники. С вершины вышки сняли телескопическую антенну. Затем многотонную громадину приподняли мощными домкратами, поставили под нее огромные специально изготовленные сани, в которые

«впряглись» могучие гусеничные тракторы. Другие тягачи при помощи тросов поддерживали вышку со всех сторон.

Когда все было готово, мастер-вышкокомонтажник Андрей Каспарович Марквер дал команду двигаться. Толстые стальные канаты натянулись, вышка качнулась и медленно поехала по снежной целине.

Бугурусланцам такое довелось увидеть впервые: два дня метр за метром двигалась богатырша-путешественница, пока не подъехала к заранее подготовленному для нее фундаменту. Потом ее снова подняли домкратами, вытащили из-под нее сани, «приземлили» и накрепко посадили на новом месте. А оно, это новое место, на 85 метров выше прежнего.

В. АЛЬТОВ 35



Ж. КАЦЕР

Снимки Р. МАНЯФОВА

Предание рассказывает: в 1897 году здесь останавливался пароход «Святой Николай», который вез в ссылку группу революционеров, в числе которых были Владимир Ильич Ленин и Глеб Максимилианович Кржижановский. По старому стилю это был день Первого мая, и Ленин с товарищами провели здесь маевку, где впервые пели «Варшавянку», сочиненную Кржижановским. А к вечеру, уже при свете костра, разговорились об использовании энергии могучего Енисея.

Вспомнил ли Владимир Ильич об этой маевке у старого скита, когда ему, уже председателю Совета Народных Комиссаров, принесли проект плана ГОЭЛРО — первого плана электрификации России? В плане было записано: «Вся Россия разбивается на восемь районов...», а в Сибири принимается во внимание только западная ее часть». Дойдя до этого места в плане Владимир Ильич не согласился с такой перспективой, и после слов «а в Сибири» вставил «пока».

Пока! Измученная гражданской войной, разрухой и голодом Советская Россия справиться со своим равным Енисеем в то время, конечно, не могла. Енисей был перекрыт лишь через сорок лет. И вот что удивительно: изыскатели Красноярской ГЭС, испробовав тринадцать вариантов, остановились окончательно на четырнадцатом. У того самого старого скита, где когда-то выходил на берег Енисея Ленин. Здесь в узком семисотметровом скалистом каньоне природа точно специально приготовила створ, где можно будет поставить гигантскую гидроэлектростанцию.

Лучше всего смотреть на плотину, перегородившую Енисей, со скалистого «пятачка», возвышающегося над рекой и знаменитого тем, что он расположен в створе станции. Я хорошо помню, что на этом месте, каким-то чудом укрепившись корнями за камни, росла сосна. Она послужила для проектировщиков своеобразным ориентиром. А потом, когда началось строительство, сосна уступила «пятачок» уникальному кабель-крану. Кран-гулливер оперся на пять двадцатипятитонных «башмаков»: никаким бурям не сдвинуть его с места! Задержешь голову — кажется облака цепляются за макушку башни, выше Исаакиевского собора! А на левом берегу — вторая такая же башня. И трос между ними. Стальной трос, толщиной в сорокалетнее дерево. Кран подает груз практически в любую точку строительства.

Я бывал здесь еще до начала строительства гидроэлектростанции. И помню, что прямо внизу, под сосной, узким прямоугольником тянулся остров Шумихинский с одинокой избушкой бакенщика. Остров с избушкой смыло при перекрытии Енисея... Что сейчас на этом месте? Плотина, многотрубные заводы, новая линия железной дороги. От плотины доносится шум воды. Енисей из окон плотины вырывается с такой яростью, что они напоминают сопла только что стартовавшей ракеты. У водобоя, специально сооруженной стены, Енисей, вырвавшись из окон, превращается в гигантское белесое облако.

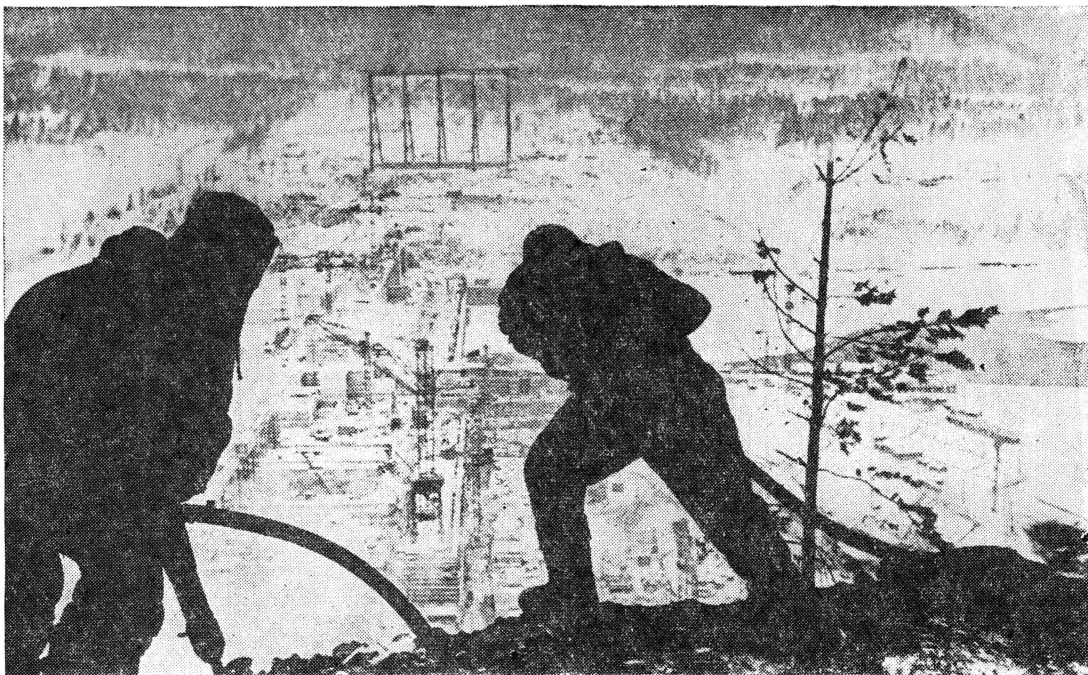
Для проектировщиков одним из самых сложных вопросов, пожалуй, была проблема проводки судов через гигантскую плотину. Шлюзов здесь не построишь: мешают горы. Да и высота, с какой можно спускать из водохранилища суда, очень велика. И тогда было решено строить наклонный судоподъемник. Судоподъемник — своеобразный речной фуникулер. Суда здесь будут совершать «прыжок» через барьер плотины. Выглядеть это будет так: откроются затворы огромной металлической камеры, камера наполнится водой и судно вплывет в нее. Камера по рельсам на 148 колесах будет подниматься к специальному поворотному кругу, смонтированному на плотине. Там, на кругу, «ванна» развернется на 180 градусов, чтобы затворы были обращены в Красноярское море, и снова продолжит путь, но уже вниз по рельсам в водохранилище.

Весь путь, длиной чуть больше километра, судно пройдет за 90 минут. А сама «ванна» с водой будет весить около семи тысяч тонн!

...Никогда еще создатели гидростанций не имели перед собой столь своеобразной и могучей реки. Начиная свой четырехтысячекилометровый путь в горах, Енисей «падает» в Ледовитый океан с высоты 1600 метров. 32 Ниагарских водопада! С тех пор, как я познакомился с Сергеем Леонидовичем Малиновским, эти цифры звучат для меня как музыка. Инженер Малиновский — живая история советского гидростроительства. Бывший петроградский красногвардеец, свидетель Великой Октябрьской революции, участник подавления Кронштадтского мятежа, он начал свой путь гидростроителя десятилетием на сооружении первенца ГОЭЛРО — Волховской гидростанции...

В тот год, когда Ленин выступил на VIII съезде Советов, провозгласив знаменитое «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны», все электростанции выработали пятьсот миллионов киловатт — в сорок раз меньше того, что будет давать пущенная на полную мощность Красноярская ГЭС. Волховскую сооружало такое же количество людей — 18 тысяч человек, а по мощности она в сто раз меньше Красноярской...

Строили Волховскую ГЭС буквально вручную: лопаты, ломы, тачки да запряжен-



Я хорошо помню, что на этом месте, каким-то чудом укрепившись корнями за камни, росла сосна.

ные лошадью «грабарки». Сейчас на Красноярской ГЭС больше сотни экскаваторов, более двухсот кранов, полтора ста бульдозеров и свыше тысячи автомашин.

Отсюда, с «пяточка», трудно представить, как перекрывали Енисей — величез и покоен он сейчас в том месте. А ведь ревел, крошил и лед, и камни! Еще труднее представить, что такого гиганта смогли укротить всего за шесть с половиной часов. Впервые в истории мирового гидростроительства перекрыли реку зимой. Считалось, что зимнее перекрытие на такой реке, как Енисей, чревато опасностью: ведь зимой Енисей только кажется слабым. На самом деле зимой он собирается с силами, чтобы обрушить на плотину и берега буйный паводок. Но перекрывать решили все же зимой. Армаду льда и лавину воды остановила «водная подушка» длиной в пятьдесят километров и высотой двадцать метров. Гидростроители создали ее, предварительно закрыв донные отверстия, через которые шел Енисей. «Подушка» смягчила напор льда в плотину. Енисей покорился. Весной 1966 года гидроузел успешно выдержал новый натиск реки — паводок, который по уровню был наивысшим за последние сто лет.

Дивные горы, возле которых расположена гидростанция, — отроги знаменитых Саян, горной страны величиной с доброе европейское государство. Это через них прокладывает путь Енисей и его многочисленные притоки, образуя скалистые каньоны, удобные для сооружения гидростанций. Старинная легенда рассказывает, что где-то в саянских каменных увалах в подземелье дед Саян спрятал от людей свет и тот, кто его разыщет, принесет людям счастье.

«Продолжение легенды» — так назвал писатель Анатолий Кузнецов книгу о строителях первой в отрогах Саян Иркутской гидростанции. Дивногорск — тоже продолжение легенды. Здесь работают многие герои книги Кузнецова, в том числе бывший начальник строительства Иркутской ГЭС Герой Социалистического Труда Андрей Бочкин и «профессор бетонных наук» Дарья Васильевна Москаленко, в бригаде которой на Иркутской ГЭС работал писатель, и выведенная в повести под своей фамилией. Теперь Дарья Васильевна на Красноярской работает мастером. И ее по-прежнему считают «профессором» и советуются с нею во всех сложных случаях.

Из подмосковного городка приехала в Дивногорск Антонина Калинина. Сейчас она известна здесь как «богиня мирных взрывов» — мастер ювелирных взрывных работ. Про участок буровзрывных работ здесь так и говорят, что это «150 мужчин и одна женщина, но эта женщина Калинина».

Что означает «красноярская энергодобавка» для народного хозяйства страны? В бассейне Енисея, занимающего площадь, на которой разместится двенадцать Великобританий, — пятая часть лесов страны, двенадцать процентов мировых запасов угля, железная руда, каменная соль, цветные металлы и практически неисчерпаемые запасы нефелинов — сырья для алюминиевой промышленности. Но, чтобы все это добыть и переработать, — нужна электроэнергия. Эту электроэнергию даст целый каскад ени-

сейских электростанций: Братская, Красноярская, Саяно-Шушенская, Усть-Илимская, Хантайская. Ни одна река на земном шаре не может соревноваться в электрическом потенциале с Енисеем.

По мнению Жозуэ де Кастро, председателя Международной ассоциации по борьбе с голодом, строительство гидроэлектростанции на Енисее «делает честь всему человечеству и приносит людям науки чувство личного удовлетворения».

Красноярская ГЭС будет не только самой мощной, но и самой экономичной в мире гидроэлектростанцией.

Я был в Дивногорске в час его самого большого торжества, когда были пущены два первых агрегата Красноярской ГЭС.

В огромном станционном зале собрались строители и монтажники ГЭС. Все взгляды были прикованы к бело-молочному шару, возвышавшемуся над тумбой первого генератора. Секунды казались резиновыми, они тянулись медленно, тревожно и торжественно. И вдруг шар озарился розовым сиянием. Турбина пущена! А вслед за первым загорелся и второй бело-молочный шар.

И тотчас, неторопливо и торжественно дежурный инженер «Красноярского» Георгий Черноног повернул одну за другой рукоятки и подключил энергию первых агрегатов в сибирскую энергосистему. Турбины взяли на себя напряжение под характерный звенящий звук. Стоявший рядом со мной начальник строительства Андрей Бочкин сказал: «Запела галактика». Я, помню, удивился: галактика? «Да, галактика «А — Е», — с улыбкой подтвердил Бочкин. Оказывается, так еще в 30-х годах зашифровали ученые план освоения энергетических богатств Ангары и Енисея. Из этой «галактики» уже построена Братская ГЭС и вспыхнули две из десяти «звезд» Красноярской, а остальные сооружаются. Полностью Красноярская ГЭС будет пущена ко дню рождения Владимира Ильича Ленина. И это тоже не случайно. Разрабатывая план строительства Красноярской ГЭС, инженеры помнили о поправке, которую внес Ленин в план ГОЭЛРО.

На Енисее намечено построить каскад гидростанций общей мощностью в тридцать миллионов киловатт.

...Уже перед самым отъездом из Дивногорска я увидел колонну самосвалов-гигантов. Машины стояли с работающими моторами. Спросил у одного водителя: «Куда держите путь?»

— На Саяно-Шушенскую!.. — прокричал водитель, сверкнув белозубой улыбкой. Моторы взревели, и гиганты, тяжело переваливаясь, один за другим исчезли в тайге.





УРАЛЬЦЫ

В АКАДЕМИИ

В январе 1759 года был утвержден статус «класса академических корреспондентов» Петербургской Академии наук. Это почетное звание решено было присваивать знатным путешественникам, выдающимся ученым, «которые, будучи в отдалении отсюда, Академии наук присылаемыми известиями пользу приносить в состоянии».

Академия наук, возникшая 29 января 1724 года, только еще набирала силы. Великому ученому М. В. Ломоносову пришлось вести отчаянную борьбу за ее существование. Она нуждалась не в вельможах, коих в Академию понапихали немало, а в подлинных ученых, знатоках страны, пытливых испытателях и следопытах.

И первым был удостоен высокого звания «академического корреспондента» выдающийся исследователь Урала, географ, историк, экономист и государственный деятель Петр Иванович Рычков. Он — автор крупного научного труда «Топография Оренбургская», не потерявшего ценность и в наши дни.

Приехав на Урал в ноябре 1734 года, П. И. Рычков связал свою жизнь с этим краем. Умер он 15(26) октября 1777 года в Екатеринбурге, где занимал пост «главного командира канцелярии главного правления сибирских, казанских и оренбургских заводов».

Из числа первых одиннадцати членов-корреспондентов Российской (в ту пору Петербургской) Академии наук пятеро были уральцами. Кто они? Кроме П. И. Рычкова,

это почетное звание получили екатеринбуржец А. В. Раздеришин, пермский гражданский губернатор, историк И. Ф. Герман, екатеринбургский, а затем барнаульский горный инженер И. М. Ренованц и сибиряк, воспитанник Екатеринбургского горного училища Александр Карамышев.

С именем Ивана Филипповича Германа (1755—1815) связаны первые описания уральских заводов.

После пребывания на посту пермского гражданского губернатора И. Ф. Герман был назначен главным директором Екатеринбургского горного начальства, потом начальником Екатеринбургского горного правления. Он основал в Екатеринбурге первую типографию и был составителем первой напечатанной здесь книги.

Для И. Ф. Германа, профессора Венского университета, в 1782 году приглашенного в Россию и направленного на Урал, Россия и Урал стали второй родиной, им он отдал свои знания, ум и силы. Его труд «Описание заводов под ведомством Екатеринбургского горного начальства состоящих» представляет собой научное обозрение 124 заводов Урала. Старый уральский краевед и историк Д. Д. Смышляев указывал, что «во время управления Германом Екатеринбургскими заводами ежегодно составлялись статистические таблицы об этих заводах». Иначе говоря, И. Ф. Герман — один из основоположников русской статистики.

В 1790 году от И. Ф. Германа поступила очень большая геологическая коллекция

руд и минералов, собранных им при обследовании Урала и Сибири. Эту коллекцию он постоянно пополнял новыми посылками с Урала, за что под конец жизни и был удостоен звания академика по минералогии.

Член Екатеринбургской берг-коллегии Александр Васильевич Раздеришин (1746—1812) в 1786 году переслал в Кунсткамеру значительное количество различных экспонатов по зоологии, минералогии, палеонтологии, что украсило этот первый русский музей. От Раздеришина поступило две больших коллекции уральских минералов, которые и сейчас еще экспонируются в Эрмитаже и других музеях Ленинграда.

Немало интересного поступило в академический музей из Иркутска от Александра Матвеевича Карамышева, воспитанника Екатеринбургского горного училища, из Барнаула — от бывшего уральского инженера Ивана Михайловича Ренованца. Они всячески способствовали развитию науки о производительных силах Урала и Сибири.

В музее антропологии и этнографии АН СССР в Ленинграде экспонируется костюм военного вождя Гавайских островов. Он был подарен замечательному путешественнику, заместителю коменданта русского поселения, порта Росс (в Америке), бывшему тобольскому солдату Сысою Слободчикову, и позже передан в академический музей.

А. КОРОВИН

ВОВКА, ДЯДЯ ИВАН И НОЧКА

А. ФИЛИПPOВИЧ

Рисунки В. Васильева

Вовка тотчас же заподозрил недоброе, когда увидел, как дядя Иван свернул с улицы к ихнему дому. Так-то уже несколько дней было: зайдет, закурит, начнет про коров говорить да про хозяйство. В общем, свою агитацию... Как папка говорит.

«Ночку хочет опять увести!» — сообразил Вовка.

В груди у него заколотилось и в горле перехватило. Он поспешно, безо всякого аппетита, доел уж обкусанную репу, поднялся с земли на коленки и стрянул приставшие к одежде травинки.

— Ты чего, Вовка? — спрашивали ребята.

Вовка поглядел на сваленные в траву репы, которые удалось нынче «настрадовать» с подсобовских полей. Реп было еще немало. Больших и не очень. Всяких. С одинаковыми мышинными хвостиками.

— Забыл я, — заправляя в штаны рубаху и шмыгая носом, сказал Вовка с притворным равнодушием. — Мне мамка наказывала быть нынче в это время дома.

— Гляди! Мы ждать тебя не будем! — сказали ребята, вовсе не оби-

жаясь, что он уходит, а как бы даже радуясь.

«Да задавитесь! — подумал Вовка и встал с коленок. — У нас у самих в огороде-то такого добра, да еще которые и послаже, навалом!» Однако он еще поглядел на репы и все же взял одну из них, оборвал ботву и сунул репу в карман штанов.

— Ну и не ждите! — сказал он на прощание и припустил улицей.

Возле ворот отдышался, чтобы дома чего не подумали. Вернее, чтобы подумали, что он вернулся просто так: вот захотел домой и вернулся. Затем он тихо, без скрипу, как уже давно наловчился, приоткрыл ворота и еще тише скользнул по крыльцу и через сенки.

У порога кухни на табуретке сидел дядя Иван. В обыкновенном своем брезентовом дождевике и резиновых сапогах. Военная тугая сумка — с ремнем через плечо — лежала у него на коленях. На сумке — кепка.

— Здравствуйте! — воспитанно сказал Вовка.

Дядя Иван кивнул.

— Ты чего? — сразу спросила мамка.

А папка только поглядел, но не сказал ничего.

— Есть хочу, — ответил Вовка.

— Супу налить?

— Я бы хлебушка с сахаром поел и молока выпил.

— Садись и ешь чего подадут! — разозлился вдруг папка.

И Вовка понял, что пропал. И потому, что придется есть «этот» суп, и потому, что при нем, при Вовке, ничего такого говорить не будет. «Эх! Надо было все же в сенках затаиться! Там все слышать...» — с досады сообразил Вовка и пошел к умывальнику ополоснуть руки.

Пока он ел «этот» суп, взрослые, и верно, ни о чем таком разговора не начинали.

Папка, как и дядя Иван, тоже на табуретке сидел, еще в рабочих штанах с мазутными коленками, босой и в майке, покуривал и глядел, как он, Вовка, ест.

«И чего глядит? Ведь ем, ем же!..» — думал Вовка.

Мамка, притулясь к печке, тоже больше на него, на Вовку, глядела. Только отчего-то не в себе была. Будто не дядя Иван, а она сама в гостях: 41

стеснялась, под фартук руки прятала, то и дело поправляла волосы, зыряка на дядю Ивана.

И дядя Иван тоже наблюдал. За ним, за Вовкой, наблюдал. Коричневый, темный, он дымил папиросой и глядел как-то исподлобья своими серенькими, будто выцветшими на солнце глазками. «Репу, знать, у меня в кармане видит... Ну да! Вон — выставляется...»

Был дядя Иван, вообще-то, из тех взрослых, которые и не поймешь, чем занимаются. Работал-то он известно где — на подсобном. Правда, подсобное-то раньше было, в войну, от Урал-маша, кажется, а нынче вдруг стало совхозовским отделением, да и от такого еще совхоза, который и не знаешь, где находится. Далеко, говорят, где-то... Да. А если еще и должность его, дяди Ивана-то, взять, так ведь тоже ничего в ней понятного нет. Директор, не директор, а какой-то управляющий. Вроде и главный, а вроде и нет, как школьный завхоз. Да... То, что всякий пацан для него, для дяди-то Ивана, прямо-таки смертельно вредный человек, так это уж точно!

Вовка дядю Ивана не любил и боялся.

«И чего ему все надо, всего жалко? Будто обеднеет, если десяток реп у него с подсобного выдерут! Во всех полях-то их видимо-невидимо... А эту, так я, может, у себя в огороде выдрал!» — храбрился Вовка, краснея от пристального взгляда дяди Ивана.

Но пока он, Вовка, строил всякие догадки, пока рассуждал, взрослые уж завели меж собою разговор, а с чего он начался и про что, Вовка как-то упустил.

... — Сорванец! — услышал он лишь, как дядя Иван закончил какое-то свое размышление. Надо полагать, про него, про Вовку размышление. Про кого ж так еще... То ли одобрял, то ли осуждал. У него всегда так-то — никак не понять.

— И не говорите! — тотчас же зашепила мамка и завытирала о фартук руки, до того уж раз десять вытертые: тоже, верно, не поняла — хвалят или нет.

«Никто его не просит, а он суется! — подосадовал Вовка на дяди Ивана слова. — Совало какое нашлось!»

— А чего? — сказал тогда папка, вступаясь. — Учится и ладно. Троек не носит. Он у нас шустряк. Как-нибудь воспитается. Мишка наш так же вот поначалу шел...

«Папка, он ничего. Только все невозможного хочет», — подумал Вовка. Он знал — как-то поздним вечером, уже спать легли, он разговор слышал, — что папка хочет, чтобы он, Вовка, ходил чистенький, гладенький, в коротких штанишках и в матроске, как директора завода сын Марик...

«Они, взрослые, все не так понимают. Им надо, чтобы по ихнему жить. А если так, по ихнему, не хочется?...»

Но пока он все это думал, папка, мамка и дядя Иван завели речь про брата Мишку. И что таксй, мол, он хороший, умный, чистый, и то, да се... Дальше некуда!

Вовка тоже любил Мишку. Чего тут! Конечно... Мишка учился в техникуме, приезжал раз в месяц, а то и чаще. По-городскому гладил брюки и курил, как взрослый, — при папке с мамкой. Но когда родители говорили с посторонними про Мишку, Вовке становилось как-то неловко. Жалко их, папку с мамкой, отчего-то становилось. И стыдно за них. Они тогда словно вдруг переставали быть взрослыми. И с Мишкой-то самим говорили будто с Марикиным отцом. Точно он для них, Мишка-то, вроде школьного учителя...

— Неправильно, неправильно у нас поставлено! — опять продолжал меж тем дядя Иван. И Вовка опять прослушал, о чем. Да и все равно, он всегда говорил непонятное, дядя-то Иван. По-умному. Может, оттого его всегда все плохо слушали. А может, привыкли, что он всегда и помногу говорит. Да и кто он вообще-то — учитель, директор? — чтобы его слушать... Ровня, она и есть ровня.

«Выставляется! — подумал Вовка. — Совало какое умное нашлось...»

А дядя Иван все говорил:

— На прошлой неделе, слышал я, выступала по радио в передаче Анка Козлова. Козлова-сварщика дочь, который в заводе у вас работает...

— Ну, ну! — быстро поддакнул папка. О другом, верно, думал.

— В Максимовском районе теперь живет. До-олго выступала. Ты-т не слышал?

— Нет, нет! — опять быстро сообщил папка.

— Да-а... До-олго! Все звала молодежь ехать на село... Дело, конечно, хорошее. Более того — современное, нуж-



ное... Но она-то ведь про что говорила? А мало, говорит, у нас хороших председателей, бригадиров, инженеров и всяких там механиков, точно все, кто туда приедет, станут председателями. Заводы — хорошо. А и хлебушек надо сеять, и молочко в бутылочках всякому городскому, поди, подавай. Разве же это дело, председателевыми местами в деревни зазывать? Требуется труженика! Труженика требуется в деревню! Трудом надо зазывать...

— Как же! Трудом зазовешь... — зевнул папка, гася папироску.

— И не говори! — дернулась мамка и, махнув рукой, будто подтверждая, что

ничего путного от дяди Ивана и не услышишь, уставилась в окошко.

Допив молоко, Вовка уперся руками в табуретку и задрыгал ногами. Обернулось это неисправимым: полуботинок сорвался и громко застучал под столом, и тогда все снова посмотрели на Вовку.

— Ну ладно! Гляжу я, делать тебе более нечего, — сказал папка. — Пойди-ка на улицу.

— У меня голова болит на улице бегать, — находчиво соврал Вовка.

— А более ничего не болит? — весело осведомился папка.

Мамка все же приложила к Вовкиному лбу ладонь, спросила:

— А не врешь?

— Болит,— потя, сказал Вовка.

— Вот что,— сказал тогда папка.— Устал я с чего-то нынче. Сходи-ка, Вова, на болоты, проверь морды.— Папка отцепил от связки ключ.— Там больше у проток шарь. Наши с красными поплавками, ты знаешь...

Вовка так и обмер и сразу позабыл, зачем в такую рань, рискуя своей уличной самостоятельностью, прискакал в дом: папка никогда еще не доверял лодки, чтобы в полной независимости он, Вовка, осматривал морды. Про все забыл Вовка. Про дядю Ивана, про Ночку. Однако, сдержался— ему, конечно, показалось, что сдержался,— не выказывая всей своей радости. Он взял ключ из папких рук и спросил, как бы взрослому, как бы о деле:

— В садок сколько надо садить, или всех наловленных домой нынче притакивать?

— Все, что наловишь, тащи,— сказал папка.

— Петренка на нас ругается, что мы по болотам шарим,— еще сказал Вовка, пользуясь случаем.— Ты бы сказал ему, что ничего плохого мы не делаем. Он же за свои морды-то больше дрожит...

От важности и серьезности, должно быть, у Вовки из носа выскочило.

— Скажу,— улыбнулся папка.

И дядя Иван улыбнулся и опять, как бы исподлобья, поглядел на Вовку своими выгоревшими глазками. Страшный он был вообще, дядя-то Иван. Лысый и редкозубый, когда улыбался. Точно, страшный! Как черепа с костями, какие на столбах нарисованы и на дверях подстанции.

— Ватник надень!— крикнула мамка, когда Вовка уж был в сенках.

Вовка подумал: притворяться, нет ли, что не слышал?

— Тепло еще!— отозвался он, наконец, повременив немного.

— Болоты— не печка!— приказывая, крикнул папка.— К вечеру, небось!

— Ладно!— весело согласился Вовка.

Забравшись на кадку— она стояла пустая и была подготовлена под капусту,— Вовка сдернул с вешалки ватник, закатал рукава, чтобы были короче и не обмочились случайно. Карманным ножиком отрезал от веревки одну жилку, зацепил ее за петельку в штанах, а к другому кончику привязал ключ от лодки—

мало ли, уронишь с лодки, тогда ищи-поискивай. Сунув ключ от лодки в карман, Вовка наткнулся на репу. «Ночке отдам!»— решил он и спрыгнул с крыльца.

Но в стойке было пусто, тихо, прохладно. Важно нахохлясь, на насесте moistились ко сну три курицы, самые, верно, предусмотрительные— места себе получше захватывали,— потому что до ночи было еще далеко... Голодные, худые комары с тонкими, почти что прозрачными брюшками лепились к потолку в ожидании своего позднего часа. Слепней не было— они всегда прилетали с Ночкой. Лишь, как обычно, потревоженно жужжали в углах черные, мохнатые навозные мухи, всегда сытые и всегда чем-то недовольные.

«Да ведь коров-то еще не пригоняли!»— вспомнил Вовка.

Он постоял, раздумывая, чего делать с репой. Наконец, сунул репу в кормушку,— когда пригонят, Ночка съест. Затем он с гвоздика на стене снял бидончик под рыбу и, обогнув стайку, пошел огородами.

Из низины, в которой заброшенные торфоразработки вот уж пять последних лет обращались в обширные, зарастающие камышом и кустарником болота, Вовке хорошо, во все стороны, видать было холмы, обступавшие эти болота. С востока и запада подбирался к болотам островерхий, глухой хвойняк. С юга же, за огородами, разбитыми по склонам, обращенным к болотам, на сухоте, на макушках холмов, за ворохами зелени из тополей, черемух, рябин, краснели железом, белели шифером и серели просушенным тесом крыши поселка, над которыми выше всего выставлялась водонапорная башня. Она была сложена четырехугольником из толстенных, круглых бревен и казалась складной, как меха гармошки. В стороне, с краешка жилья, почти в самой низине, вровень с болотами, стояли долгие железные трубы ремзавода, на котором работал папка. Труба над котельной стояла нынче как бы мертвая, а из трубы литейки закружился желто-розовый дым, освещенный теперь вечерним закатным солнцем. Еще Вовка видел пожарный флажок на той, что гармошкой, водонапорной башне— пока флажок висит, топить печи нельзя. А еще видно было за всем за

этим, только на вершинке уже другого холма, что за поселком, бревенчатую вышку, которая нужна, как объяснил папка, для «перенесения окрестности на карту». Но это папка не сам узнал — это ему Мишка рассказывал. Вовка слышал, как рассказывал. Вот с той-то вышки, говорят, по утрам, когда солнце далеко светит, видать и сам Свердловск. Правда, это еще проверить надо...

А с севера, за болотами, как раз в той стороне, куда опускается солнце летом, желтели подсобовские поля среди островков сохраненного леса, и видно было хорошо и само подсобное — несколько деревянных коробочек-домов и длинный, под соломою, коровник...

Все это Вовка наблюдал много раз, но все это ему никогда не надоедало, несмотря на то, что его не переставало манить в город, где в техникуме учился Мишка. О городе редко кто из взрослых говорил плохо. Всегда они, взрослые, подчеркивали, что кто-то очень уж счастливый, именно — счастливый, живет теперь в городе и ему квартиру дали со всеми удобствами... Но эти болота, поселок с трубами и башней, подсобовские поля и низкий, под соломою, коровник обладали каким-то своим, прочным и неистребимым притяжением. Вовке было десять лет, и он еще не знал, что все это есть такое. Не мог он еще знать и того, что «все это» откроется ему лишь через много-много лет, когда он вдруг заметит, что в трудные минуты жизни при слове Родина ему будет представляться не некая бескрайность, а он будет видеть сперва все эти крыши, трубы, башни, подсобовские коробочки-дома, коровник под соломою и поля среди островков сохраненного леса, и уж только потом — уходящую ото всего этого, как от изначального, всю бескрайность голубой по горизонту земли...

Стоя в лодке и загребая легоньким веселком то с правого, то с левого борта, Вовка тихо скользил по протокам, отыскивая поплавки, помеченные красными тряпочками. Вечерняя вода стояла гладью, стеклянню отражая в себе облака и затаившиеся по краям проток камыши и низенькие березки над этими камышами. Первые, опавшие уже с березок листья, сухо скоробившись, лежали на этой вечерней воде, как на чем-то твердом, как на зеркале. А прямо у бор-

та видно было растущие из глубины диковинные водоросли и шныряющие среди водорослей стайки мальков...

Вовка зацеплял поплавки крючком, приделанным к рукоятке веселка, хватал тросик и выволакивал из няши наверх самодельные, сплетенные из проволоки морды, с ячейками, забитыми торфом. Некоторые в поселке звали эти морды «фитилями», и Вовке тоже больше нравилось звать их так. Карасей он вываливал прямо в лодку, а мелочевку, какую успевал заметить, выкидывал обратно и переставлял «фитиль» на новое место. Как бы исподтишка, с надеждою, он осматривался вокруг — не видит ли его кто из взрослых, может, даже и сам Петренка. Но взрослых, да и ребят никого нынче на болоте не было, и Вовке все досаднее становилось оттого, что никто так и не узнает, что ему доверили обшаривать «фитили»...

Только под конец рыбалки заметил Вовка одного взрослого. Однако был он из городских, потому что ловил на удочку. Вовка неожиданно для самого себя вдруг отвернул в сторону, издалека углядев этого удочника, и, потея, заплескал веселком, удаляясь по укромной протоке. «Мало ли чего? — подумал он, прислушиваясь к гулкому грудному стуку и оправдывая свой малодушный поступок. — Еще как начнет цепляться, что все, мол, местные, не рыбацуют, а хищничают...»

И только примкнув лодку к вбитому в землю рельсу и перекидывая карасишек в бидон, Вовка опять храбро засожалел, что никто из взрослых его не видел.

Бидон был почти полон карасями. Присев на мокрый от вечерней росы травянистый бережок, Вовка запустил в бидон руку, перебирая скользкие рыби тельца. Солнце село и светило уже откуда-то из-за края земли, золотая облака снизу. От поселка неразборчиво слышались голоса. На усадьбе, на которой спешили к зиме достроиться, тукал топор. А в окраинной улице кто-то взад и вперед гонял на мотоцикле.

Вовка потуже запахнулся в ватник: болота не печка. Да и от воды уж тянулся к ночи парок — вода стыла, и воздух набухал сыростью. Вовка решил посидеть так еще недолго, самую, может быть, малость, наслаждаясь своей самостоятельностью и храбростью перед ве-



черним одиночеством, когда вдруг вспомнил про Ночку...

В стайке так же, как и перед рыбалкой, было тихо.

Даже еще тише: умаялись, изворчались за день черные навозные мухи, а слепней опять не было. Точно поняли они, слепни-то, что делать им теперь здесь нечего. Правда, тонко надрывались ожившие к ночи комары, но это вроде бы не нарушало тишину, лишь углубляло ее.

Через окошко в огороды, куда выкидывали навоз, светила теперь красная полоса закатного неба. И в кормушке было пусто, только все так же одиноко валялась репа, уже чуть поклеванная курами. Сами же куры сейчас важно, мохнато разъерошились на насесте. А на стене, на гвоздике висели теперь Ночкины веревка, за которую ее водили, и ботало... И вилы, и деревянная лопата, которыми стайку чистили, не стояли в уголке. Должно быть, папка забросил их на полок, где и так много набросано разного барахла.

«Все! — понял Вовка, присев на чурбачок, на котором папка обычно колот дрова и который в стайку-то обычно не затаскивали. — Продали Ночку!..»

Вовке стало так тоскливо, как может становиться только ребенку, когда он добросовестно пробует постигнуть тот смысл, который еще недоступен его детскому пониманию.

А вокруг все еще пахло Ночкою.

Вовка всегда принимал Ночку всеерьез. Ее огромную, черную, рогатую допотопность с выпученными, грустными глазами. Ему всегда казалось, что она думает и чувствует, как человек. И он представлял вдруг Ночку в подсобовском коровнике, казенном, под соломою, разгороженном на скорую руку. Как стоит

она перед кормушкой, в которой навалено уже истасканного, измятого сенца, как плачет, поди, своими выпученными, грустными глазами и есть не может, не понимая, отчего так с нею обошлись: выхаживали, выкармливали, вылечивали, вдруг взяли, отдали вовсе чужим, будто рабыню какую, будто вещь, которая ничего не чувствует. И дядя Иван стоит рядом, ощупывает, оглядывает Ночку со всех сторон, будто вещь. Будто шифоньер какой приобрел, да и только! Вспотевший, довольный... «Он во всем такой — деревяшечный! — зло и горько подумал Вовка про дядю Ивана. — Одну только свою пользу и ищет! Точно они, коровы-то, и вовсе не животные...»

И Вовка неожиданно начал вдруг представлять рабов, которых тоже продавали, будто они бесчувственные. Он читал про них маленько в Мишкиных книжках, когда стащить удавалось. Про

Спартака, например. И воображение понесло его вдруг далеко-далеко, так далеко, что он как-то быстро позабыл и про Ночку, и про то, что в бидоне у него караси, что уже поздно, что его ждут дома, а он сидит на чурбачке в опустевшей стайке. Сначала он сделал рабом одного себя, потом всех своих одногодков, потом уж принялся подымать восстание, как вдруг услышал мамкин голос:

— Ты бы на болоты сбежал! — говорила она папке. — Наш-то чего-то долго не ворочается. А?

— Времени сколько? — спросил папка.

— Да около девяти! — ответила мамка.

— Придет! — сказал папка.

— Да, конечно, прибежит... — разозлилась мамка. — Как прирастешь к этим «фитилям» своим, так разве когда сидело-то оторвешь, как же!

Вовка выскользнул из стайки.

Свет в избе горел только на кухне, и окошко во двор было открыто. Вовка с крыльца скрытно взглянул в окошко. Мамка возилась у печи, готовя на завтра — флажок пожарный с башни уж, знать-то, сняли. А папка в уголке сидел на своей рабочей табуреточке с брезентовым, как у сапожников, сидением и плел «фитиль».

В сенках, взобравшись на кадку, Вовка повесил телогрейку на место и громко спрыгнул на пол.

— Пришел Вовка-то! — сказал за дверями папка, довольный, верно, что мамка сейчас от него отстанет.

Вовка коснулся на два зеленых огонька, которые напряженно глазели на бидон из угла сенок: Васька поджидал своего законного. Запустив в бидон руку, Вовка вытащил которого поменьше и бросил карасика в угол, к тем двум зеленым огонькам.

— Ну чего, рыбак? — спросил папка, не отрываясь от плетева, когда Вовка вошел в дом.

— Средне, — солидно сказал Вовка.

— Супу свежего не хочешь? — предложила мамка.

— А чего все суп да суп! — насупился Вовка. — Утром — суп. В обед — суп. На ужин — суп...

Папка поднял голову, поглядел, но ничего не сказал и стал закуривать.

Вовка прошел к столу, выставил бидон на стол и сел. Мамка взяла бидон со стола, вывалила в таз рыбок и, пристро-

ившись к помойному ведерку, изготовилась чистить.

«Молчат! — усмехнулся Вовка. — Я все-все знаю, а они молчат... Как же! Меня ничего не касается. Чего хотят, то и делают. Точно я раб какой...»

Вовка вздохнул, да так притворно, что от этой его притворной важности опять выскочило из носу, как тогда, при дяде Иване. Всегда так-то, в самый неподходящий раз оно и выскакивает...

— Ты чего это надулся? — спросил папка. — Гляди, живот воздухом раздерет!

Вовка отвернулся, утер под носом.

— Я, что, раб для вас какой, чтобы от меня все скрывать? Бесчувственный что ли? — сказал он наконец. — Почто Ночку продали?

— Чего-чего? — спросил папка и отложил в этот раз свой «фитиль».

Вовка промолчал, ничего отвечать не стал, да и чего отвечать, если папка и сам все понял.

— Раб... Ну и ученый ты, гляжу, стал! — выдохнул папка.

— Папка! — тихо сказал Вовка. — Возьми Ночку обратно!

— А горб-от кто на нее гнуть будет? Папка с мамкой? А ты молочишко попить?

— Папка! Ты не хочешь, так я сам ей сена на всю зиму накошу. Почти целый месяц еще до школы, а за день я слабо мешка четыре надеру. Это ведь сколь всего мешков-то выйдет? Хватит! А, папка?...

— Сколь мешков выйдет, сколь мешков... У нас и мешков-то столь не найти, — задразнился папка. — Тоже мне, накашиватель сыскался!

Вовка выждал.

— Раб... — вздохнул папка, отходя.

— Я ж серьезно, — опять сказал Вовка.

— А я нарочно. Но уж если по-серьезному, так тебе, по-моему, спать пора! — строго сказал на этот раз папка, вздохнул и снова начал закуривать папиросу, забыв про старую, которая затухала в пепельнице.

Вовка еще посидел немного. Но папка и мамка с ним больше не разговаривали, точно его не было. Они занимались своим делом, и Вовка, выпив на ночь чашку молока, которого налила мамка — верно последнего, Ночкиного-то молока, — ушел спать...

Заснул он быстро, но скоро же и проснулся, непонятно отчего. Было не так уж, чтобы очень поздно, хотя на улице и стояла темень: где-то у соседей, через дорогу еще играла музыка, и папка с мамкой легли, видно, недавно, потому что еще шептались.

...— А телевизор, я думаю, нам вовсе ни к чему! — слышался мамкин шепот.— И Колотовы вон, и Анкудиновы, да все, которые купили, говорят, что ни к чему. Лучше в кино ходить. В клуб. А то как позаводили их, телевизоры, говорят, и позабывали, когда чистое одевали. Все по-домашнему, в чем по хозяйству, в том и передачи глядишь... Да и больше-то чего показывают? Одни беседы! Нет, столь денег сразу — с ума можно сойти!..

— В кредит можно, — сказал папка, будто сквозь зубы.

— Разве что так! — будто согласилась сперва мамка. Она всегда так-то вот: сначала будто во всем соглашается, но потом, знай, свое гнет... — Только, если и в кредит, а подумать все равно, Коля, надо хорошенько-хорошенько! Ведь и Мишку на те ж денюжки надо как следует одеть. Шутка ли: в городе жить? Других-то он чем хуже? И мы сами-то что, хуже других разве? Сейчас ведь, погляди, как молодежь одевается! Нет, как он будет по городу ходить в своем старом? Семнадцать же годов парню! А я уж, Коля, и пальтишечко ему подсмотрела. Настоящее. Зимнее. На вате. И воротничок черный. Кроличий, правда, но под котика называется. Красивый. И шалкой еще, воротничок-то...

— Шалкой уж сейчас не носят...

— Зато — теплее! Поднял его — и грудка вся закрытая.

— Знаешь, кролику я чего-то не обо доверяю. Он через год полезет. Ты лучше цигейковый подсматривай...

— Конечно! Только где ж его, Коля, подсмотришь? Случайно разве... Сейчас всюду кролики. А вообще-то, пальтишечко в самый раз. И шапка у Мишки такая же, черная...

— Все это дело хорошее, но и обдумать надо основательно, — по-своему, как сквозь зубы, и на это отозвался папка. — А телевизор все равно в кредит, по-моему, можно. Ты вот завтра список лучше составила, чего и сколько купить можно. А так, все в общем да около...

— Нет, ну ты сам подумай... А список-то я составляю, составляю... Это быст-

ренько! Конечно. Но все же... И Вовке еще надо обуться. Я и ему в магазине кой-чего подглядела. Полуботиночки уралобувские. Добрые, на микропоре. И восемь рублей всего. Найди сейчас подешевле. А то он уже жалуется, что больно жмут старые...

— Ты его больше слушай...

— А чего слушать, и так видать. Морщится, когда натягивает. Они ведь у нас лишний раз не скажут. Тоже ведь понижают, как живем. Раз сказал — и хватит. Гордые... А потом, знаешь, пальтишко и Вовке не мешает. Ну сам посуди, куда ему старое Мишино-то? А?

— Ты список сначала составь. А так в уме да в постели чего не купишь!..

— Списочек само собою, Коля! — заторопилась мамка. — Составлю. Как без него-то? Без него никак. Это уж я, конечно, сейчас просто так, немного размечталась... Хочется же...

— Но телевизор надо! — все равно сказал папка. — В кредит, конечно, а учитывай. А то и в кино, знаешь, как истратиться можно, да и Вовка ведь растет. А там днями, говорят, сплошь одни детские передачи пускают. Вовке это для развития...

— Я ведь, Коля, еще про одно совсем тебе сказать позабыла! — перебила мамка. — А форму-то? Форму-то ведь школьную Вовке больше всего надо! Говорят, не сегодня-завтра привезут. Фланелевые, теплые... Здесь не купишь, потом в город поезжай, а это и расходы, и спешка, и не знаешь, чего еще купишь...

— А старая чего? — спросил папка.

— Да вырос же! Рукава почти что под самые локотки, и брюки — надставлял дальше некуда...

— С формой, конечно, в первую очередь. Куда денешься... Но телевизор, как хочешь, а первым в своем списке учитывай. Раз с деньгами такая возможность получается. Потом-то еще когда она случится. Может, и не случится больше. Да. Рублей на двести учитывай. «Рекорд» возьмем. Самый надежный, говорят... Около двухсот, в общем...

— Чего-о? Около двухсо-от?

— Да это полная, полная стоимость! Чего ты раскипятилась? Двести. Двести десять... В кредит-то сначала, я узнавал, одну четверть всего берут. Рублей, значит, сорок, пятьдесят, как получится. Какие телевизоры поступят. Но лучше, конечно, чтобы «Рекорд»...

— Только так — в кредит! Иначе никак...

Вовка встал, и шепоты стихли.

— Ты куда это? — спросила мамка.

— На двор...

— Ведро в сенках стоит, — приказала мамка. — Нечего на дворе делать!

«Уж и Ночку-то всю разделили», — подумал Вовка и ничего не ответил. Из упрямства он было хотел все же идти на двор, но вдруг вспомнил про телевизор, и упрямиться ему расхотелось. Он постоял в сенках над ведерком, с удовольствием воображая телевизор, по которому гонят по вечерам одни футболы и кино...

— Ты чего это пропал? — услышал вдруг Вовка папкин голос и папкины шаги.

— Папка? — спросил Вовка.

— Ну, чего? — папка вышел в сенки.

— А «Рекорды», правда, самые лучшие?

— Какие?

— Да я про телевизоры...

— Иди спать! — сказал вдруг на это папка. — Телевизор захотел... Может, легковушку еще попросишь?

— Вот здорово! Но мотоцикл — лучше! На нем всюду проедешь...

Но папка уже вытолкнул его из сеней, захлопнул дверь, и Вовка припустил до постели во всю прыть.

Он с головой замотался в одеялко, выставив ухо, и замер. Подождал, когда отец вернется, и приготовился слушать дальше, о чем будут шептаться. Но папка с мамкой лежали теперь тихо. «Не верят, что сплю...» — догадался Вовка и чуток прохрапел. Но папка с мамкой шептаться все равно не начинали. Вовка храпел бойчее.

— Слышь, спит! — сказала, наконец, мамка.

— Ну да! — не поверил папка. — Спит! Как же...

— А чего? Устряпался за день...

— Я тебе сейчас так захраплю! — сказал вдруг папка в полный голос.

У Вовки перехватило дыхание и весь он съезжился, ни жив, ни мертв.

— Вон, как он спит! — довольный сказал папка, кашлянул и перевернулся в кровати...

Утром Вовка проснулся рано и сразу же понял, что все ушли, и он в доме остался один.

Он, дурачась, скаканул на родительскую постель, застилать которую вменялось ему в обязанность, пока были каникулы. Но вдруг вспомнил про ночной разговор о телевизоре и лег тихо, разглядывая комнату и стараясь угадать, куда телевизор поставят, когда купят. Сам он определил ему местечко в уголке, так, чтобы передачи можно было глядеть с обеих кроватей.

«Спишь и видишь!» — только решил он с удовольствием, даже и не сообразив, что когда спишь, то ничего уж не видишь, как услышал под окошком соседкин голос:

— Орловы-то никак тоже свою корову продали! — говорила соседка кому-то. — Вон ихняя Ночка прикатила. С подсобовского, должно. У всех так-то, кто продавал. Обратное прикатывают домой в первые дни...

— А чего? — ответил второй голос. — Там не свои, поди, с утра не кормлены. Пораньше в лес гонят... Вот и прибегают они обратно.

— Да и в лесу-то чего? Сушь. Все пожгло... — опять сказала соседка. — Вовки-то ихнего нет, что ли, дома? Надо бы тогда к Нинке к самой в столовую сбегать да сказать, чтобы обратно угнала...

В это время Ночка промычала.

— Ты ворота-то, ворота-то попробуй! — сказал второй голос. — Может, открыты они, так на двор скотинупусти, а то она, скотина и есть скотина, возьмет да куда еще удевается. Ищи потом свищи!

— И вправду — разве что так! — ответил согласный первый голос.

Вовка услышал, как заскрипели ворота и как зашла Ночка во двор. Потом там немного потоптались и, наконец, стукнули в двери. Вовка пролежал в постели, не отзываясь, и со двора ушли. Когда ушли, он, отвернув краешек занавесочки, выглянул за окошко. Никого уже не было видно.

«Ночка вернулась!» — жалостливо повернулось в Вовке.

Он вышел на крыльцо, и, увидев его, Ночка промычала, дохнув молочным своим дыханием, и, вытягивая вперед морду, ступила навстречу. Вовка скатился с крыльца, протянул руку, пощекотал Ночке горло, и Ночка подалась ближе, сладко вытянув шею.

— Ночка! — сказал Вовка тихо, и Ночка будто поблагодарила за ласку, качну-

ла мордой — зачем, мол, тут разные слова, и так все понятно. Вовка опять потеребил Ночкино горло, почесал на лбу белую звездочку, а Ночка вдруг, низко наклонившись, промычала.

— Есть хочет! — вслух сообразил Вовка и заторопился. — Сейчас, я сейчас, Ночка! Потерпи чуток...

Он побежал на кухню. Ведро, в котором мамка обычно готовила Ночке пойло, кроша в него хлеб, картошку и разную зелень, стояло нынче на печи вверх доньшком, отмытое и отчищенное изнутри. Вовка достал хлеба. Полбулки — все, что нашлось. В чугунке было полно в кожуре сваренных для кур картошек. Литровая банка вчерашнего молока стояла на подоконнике. Вовка крошил в ведро хлеба, картошек, отлил полбанки молока, разбавил все это водой и побежал на двор. Ночка все так же стояла у крылечка. Он прошел мимо нее в стайку, и Ночка двинулась следом.

Вовка глядел, как она ест, как то и дело поднимает от ведра мокрую свою морду, шевелит губами, с которых стекает обратно, и как сыто-сонными становятся темные Ночкины глаза. Ночка поела, ступила от ведра вбок и, подогнув передние ноги, опустилась, легла на пол. Вовка достал ей из кормушки вчерашнюю, изрядно уже поклеванную курами репу, положил перед ней, и сам опустился на коленки. Ночка понюхала репу, грызнула от нее раз-другой и стала неторопливо жевать.

Во влажной прохладности стайки опять загудели слепни, и Ночка хлестнулась хвостом. А Вовка все гладил и гладил Ночку, замечал, что вся Ночкина шерсть в паутинах нынче, в веточках, в репьях.

«Бежала! — сообразил он. — Через все шла. Потому что домой. Ее продали и разделили уж по кусочкам, а она не понимает. Не верит будто, что с нею так обойтись могут. Ведь не верит!.. Эх, Ночка...»

Ему самому стало так неловко от этой Ночкиной преданности, что он чуть было не заплакал. Тотчас же он представил Ночку в подсобковском стаде. Среди высоких и быстрых подсобковских коров, которые, поводя рогами, грозят Ночке, отгоняют ее на исщипанное. И Ночка, хочет не хочет, а бредет по их лепешкам, по издавленной ихними копытами земле, с которой и обкусывать-то нечего.

«А мы-то? Телик купим, ботинки микропористые... Эх!»

— Я сейчас, сейчас, Ночка, — сказал Вовка вслух, замечая, что сам все еще в том, в чем спал — в одних трусах. Он поднялся с колен. — Нет, не отдам! — сказал он на этот раз. — Не отдам! Угоню лучше... Уйдем сейчас, Ночка, погоди... Сейчас уйдем отсюда. Я такие места знаю, что никто нас не отыщет...

И Вовка побежал в дом, сладко замирая от смелости только что принятого решения и гордясь собою, своей решимостью, своей верностью.

«Не то, что все они! Не то что!..» — не переставая все это твердить про себя, он быстро оделся, схватил три еще оставшихся в чугунке картошки, в коробочку из-под спичек отсыпал маленько соли. Поискал еще хлеба, но хлеба больше нигде не было. Тогда Вовка махнул рукой, все торопясь отчего-то, сдернул в сенках ватник — ногами прохладно становится! — от спешки оборвал на ватнике петельку, сгреб папкину охотничью сумку и выбежал из дому, на ходу перепахивая в сумку из карманов картошки, соль в коробочке, несколько печенинок...

«Уйдем! Вовсе уйдем... Так им и надо! В лесу жить будем. Не пропадем, чего тут!..»

В стайке он снял с гвоздика ботало и тоже спрятал его в сумку, а потом палкой — больно уж высоко подвесили! — сбросил с гвоздя веревку, накинуд ее на Ночку и, растолкав Ночку, вывел ее во двор. Еще раз оглядел все вокруг. Вспомнив про кепку, сбегал в дом, и уже после этого, намотав на руку веревку, пошел с Ночкой прочь через огороды.

В правой стороне от болот, по опушке леса, точечками двигалось подсобковское стадо, и Вовка тотчас же решил идти по болоту, по старым торфяным выработкам, где твердо, далеко влево, к островерхому хвойняку на склонах холмов.

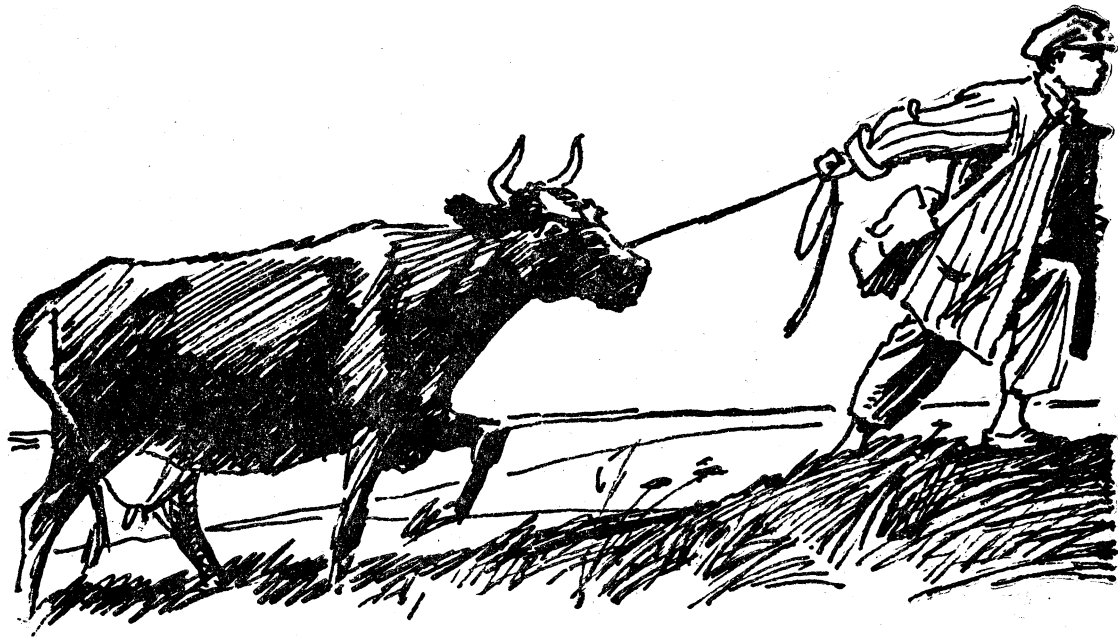
Когда вышли за ограду и завернули влево, с соседской усадьбы крикнули:

— Куды гонишь? Куды гонишь, Вовка? Вовка заторопил Ночку. Это заметили и снова крикнули:

— Куды, паразит такой, гонишь?!

Вовка оглянулся: за ними никто, однако, не гнался, не бежал.

Ночка послушно плелась позади, хлестаясь хвостом. Только уж больно медленно плелась, как все они, коровы, хотя.



Вовка глядел теперь только вперед, в решимости сузив влажные глаза. Он будто не узнавал теперь всех этих исползанных вдоль и поперек болот и того, вдалеке, хвойняка, тоже избеганного, к которому вел нынче Ночку. Все это вдруг представилось ему неизвестностью, таящей одни опасности и тайны.

Запустив в карман штанов руку, Вовка потрогал, тут ли перочинный ножичек. Ножичек был на месте.

У опушки хвойняка Вовка остановился подле старого колодца — хотелось пить. Черпанул ведерком, попил. Ночка тоже потянулась к воде, промычала. Он и ей дал попить и, ополоснув ведерко, повел Ночку в глубь леса, дальше, к еланькам.

Здесь было тихо. Одиноко. Опасно. Не как всегда.

Вовка пошел осторожнее, всматриваясь до рези в глазах.

На елани пекло. Густой, жаркий шум августовского дня обступал со всех сторон, и Вовка решил пока не ходить дальше. Он нацепил на Ночку ботало, а себе расстелил на траве, в тенечке, ватник. Рубашка, пока они сюда шли, вся взмокла от пота. Вовка поглядел на солнце: оно все еще стояло высоко и одиноко посреди неба и почти что на том же месте. А ему казалось, что они с Ночкою шли долго-предолго.

«И чего тут опасного?» — храбро подумал теперь Вовка, успокаиваясь.

Он вспомнил, что ничего еще не ел с утра, достал картошки и, посыпая их солью, съел почти все. «К вечеру на огородах свежих надеру, — решил он. — Костер разожгу, испеку...»

Ночка тихо ходила вокруг, ощипывая траву и похлестываясь хвостом. И Вовка даже будто слышал, как на Ночкиных зубах, истекая соками, хрустит свежая зелень.

Ему стало хорошо, сонно, треск травы успокаивал, и, вытянувшись на ватнике и надвинув на глаза кепку, Вовка задремал.

Проснулся Вовка оттого, что Ночка тревожно замычала. Натянув веревку, она вся подалась туда, откуда они с Вовкой пришли. Вовка сел на ватнике, теранул глаза и, по-татарски подвернув ноги, поглядел на солнышко, поднеся к глазам ладошку. Солнышко сдвинулось с места, значит, он взаправду заснул.

И тогда вдруг услышал:

— Ночка! Ночка! Ночка!.. — доносилось от болот.

Ночка снова ответила.

Сон пропал моментально и, извернувшись, Вовка стал на четвереньки, настроженно глядя в лес. Немного погодя он услышал треск сушняка и шорох за-



деваемых веток чуть левее того места, куда всматривался. Он быстро глянул туда и увидел идущих к елани мамку с папкой.

Папка был во всем рабочем, в сапогах, в надетой на голое тело тужурке с замазученными локтями и в кепке с замазанным блестящим козырьком, надвинутым низко на лоб. Мамка, простоволосая, красная, почти бежала, комкая в руках косынку, а папка шел твердо, не отворачиваясь от веток, точно танк какой.

«С работы отпросились!» — пугаясь отчего-то еще более, Вовка схватил с земли ватник и сумку и, оглядываясь, попятился к лесу.

— Стой! — крикнул папка.

Вовка остановился.

Мамка было побежала к нему, к Вовке, но папка ей приказал:

— Не ходи!

Сунул мамке в руки веревку. Тогда лишь пошел к Вовке, остановился шагах в пяти. Вовка молча глядел, как папка долго доставал портсигар. Наконец, закурил, сунул руки в карманы, сказал:

— Сейчас отведешь Ночку, — строго сказал, через зубы, не вынимая изо рта папироски. — На подсобное отведешь.

— Нет! — быстро прошептал Вовка помимо собственной воли и не сводя с папки испуганного взгляда.

— Сам отведешь! — распорядился снова папка.

— Нет! — опять прошептал Вовка и вдруг заплакал, кривясь, противясь слезам, и попятился, натыкаясь на ветки, пока не запнулся и не упал. — Нет, нет! — уж теперь закричал он. — Не я, только не я, папка! Сами уводите! Нет, нет... — он поднялся и снова запнулся. Опять поднялся. И еще несколько раз падал и поднимался, ломая сушняк, пока, наконец, не побежал в глубину леса.

— Иди за ним! Убежит, заблудится, — крикнула мамка.

Вовка оглянулся.

— Нечего ходить! — папка схватил мамку за руку, выше локтя, не давая ей кинуться следом. — Не заблудится...

...— Нет, нет, нет... Папка, папа, папочка! — хотя никто уже и не мог его слышать, все шептал Вовка, кусая губы и уходя все дальше. Он не переставал сухо всхлипать, чувствуя острую, горькую боль в горле, точно его только что по горлу били.

Он добежал до новой елани и, упав на траву животом, пережидая всхлипы, прислушался — не идут ли за ним? Никто не шел. Он полежал так, затихая. Услышал, как промычала Ночка, но уже теперь гораздо дальше того места, где он ее оставил.

Ночку уводили.

Вовка утерся, размазывая лесные паутинки, осевшие на лицо пока он пробирался чащей. Отдышался. Слезы прошли, и наступила после них гулкая, неожиданная нота. Он поднялся с земли и пошел к опушке, сторонясь елани, на которой его застигли с Ночкою. На опушке же, не выходя из лесу, он осмотрелся, хоронясь за ветками. Папка с мамкой были уже далеко, на кружной дороге к поселку. Ночку вела мамка, а папка шагал следом, сунув одну руку в карман штанов, а второю то и дело поднося ко рту папироску.

Вовка, крадучись, хотя папка с мамкой и не оглядывались, перебежал к болоту и по старым, заросшим бурьяном дамбам добрался к причалам, где стояли лодки.

После выплаканных слез на душе у него стало как-то пусто и звонко. Однако, сев на бережку, он вдруг подумал вовсе не о том, о чем хотелось. «Вот возьму и утоплюсь! — подумал он. — Налзло всем утоплюсь...» Но по-настоящему ему хотелось теперь только есть, и он вскоре же позабыл, что хотел топиться...

Совершенно безо всякой цели он долго сидел так на бережку, когда проходом с поселка на свое подсобное прямою тропкою, протоптанной через болота, подошел к нему дядя Иван.

— Здравствуй, Владимир! — сказал дядя Иван, остановившись позади и называя его по-взрослому, как никогда еще не называл.

Вовка обернулся, подумал было, что надо бы вскочить поскорее да дать деру, но и это все, как и недавнее желание топиться, было совсем не тем, чего хотелось, и Вовка остался сидеть, обхватив по-прежнему колени.

Дядя Иван долго, казалось, стоял так над душою, раздумывая что ли, проходить ли мимо, сказать ли еще чего или остановиться здесь и передохнуть маленюко. Наконец, он с хрустом в костях медленно опустил рядышком. Повернувшись своим темным, с выцветшими глазками лицом к солнышку, он прямо вытянул перед собою долгие свои ноги.

Стояла добрая жара, но дядя Иван был в своем неизменном брезентовом дождевике, с аккуратно за бок закинутой тугой военной сумкой и в резиновых сапогах, кое-где прорванных на голенищах. Откинувшись назад и упираясь в землю руками, дядя Иван долго молчаливо глядел на солнышко, задирая кверху подбородок и щурясь, греясь. Затем он расстегнул воротничок простой, выгоревшей давно рубашки с беленькими пуговками, снял кепку с протертым кое-где до картона по ребрышку козырьком и стал разуваться.

Стянул сапоги. Поморщился. Передохнул. Затем все так же морщась, принялся за портянки, от которых несло тяжелым духом. А только смотал их, как Вовка обмер — на правой ноге у дяди Ивана был только один большой палец, а остальные вместе с половиной ступни почти что до самой пятки, будто как от полена стесал кто топором... И где срослось мясо, остались глубокие синие шрамы. Такие же точно шрамы сплошь шли и по всей левой ступне, хотя пальцы на ней остались.

— Страшно, Владимир? — спросил дядя Иван, заметив, как Вовка тотчас отвернулся.

— Да нет... — неловко выдавил из себя Вовка, боясь признаться, что ему страшно, и еще — смущаясь обидеть своим страхом дядю Ивана.

— Извини уж меня... Страшно, конечно. Это я нынче просто забылся, что при тебе разобуваться начал...

— А где это тебя так, дядя Иван? — все так же, однако, отворотясь, спросил Вовка.

— Да как где? На фронте. Где ж так-то еще может искорежить?

— И ордена тебе за это не дали?

— Чего-чего? — сощурился дядя Иван.

— Да в поселковом у нас один безрукий с орденом работает...

— Это Васильев что ли?

— Ага, Васильев!.. Так папка говорит, что ему орден за оторванную руку дали!



— Вон ты что!
Дядя Иван поулыбался и стал вдруг серьезным.

— Нет, ордена мне не дали.

— Может, медаль?

— И медали тоже. Потому что их, Владимир, не за так дают. Да и к чему они мне теперь? Спасибо, хоть душу не оторвало, а только вон чего...— он пошевелил правой ступней.— Кому ведь на войне не столько руки, да ноги поотхватывало, сколько душу... А мне, слава богу, сохранило... Да и потом награды-то что? По ним, бывает, что и человека-то враз не отыщешь. Он, может, в штабе, за столиком сиднем сидя получал, а теперь наяривает, грудь колесом. Фронтвик, мол... Да еще и по телевизорам когда выступает... Всякие, Владимир, люди встречаются. Ну, да бог с ними. Все тогда одно общее дело сделали. Один — поменьше. Другой — побольше...

54

— Дядя Иван,— и вовсе осмелел Вов-

ка.— А зачем ты коров по дворам забирал?

Дядя Иван пошевелил губами, точно что-то жевал, улыбнулся вдруг и, протянув руку, погладил Вовку по голове.

— А потому, Владимир,— сказал он, опять называя совсем по-взрослому,— что люди сами держать их отказываются. Всем теперь в кино больше ходить нравится да книжки читать... А может, так и надо-то, кино больше смотреть да книжки читать. Кому свой горб-от через силу гнуть глянется? Никому не глянется... И все тут.

Дальше он вроде бы, необычно для себя, говорить ничего не захотел, а зашевелил губами, точно все что-то жевал, уставился на плесо своими серенькими выцветшими глазами.

А солнышко припекало.

И немного погодя дядя Иван задвигал от наслаждения созревшей в резине, изуродованной ступней. Вовке стало с

ним совсем неинтересно, но дядя Иван откашлялся, готовясь рассуждать.

— Я их, коровок, не отбираю. Я их сохраняю. Понимаешь... Не отбираю, да и все тут! — зарассуждал на этот раз дядя Иван, но по-своему, словно не ему, не Вовке, все это говорил, а то ли самому себе, то ли еще кому-то другому, взрослому, с кем спорил... — Сейчас и жизнь другая пошла. Все времени личного хотят побольше иметь. Да и покосы-то нынче далекие. Все сблизил перевели. Да и как не перевести? Сколько лет не по уму хищничали! Да-а... Куда ж их теперь-то, коровок? На базар? Под ножик? Таких-то коровок, да под ножик? Не выйдет. Не дам скотину перевести. Хозяйство свое лучше поразорю, а не дам. И все тут. Они же, коровки-то, литров по двадцать каждая приносят! Плохих разве кто станет у нас держать? И чтобы без следа всех их за так, по единой? Да мыслимое ли это дело? А я их сохраню. Зачем же их на базар, да на мясо, если я на них здесь, у себя, хозяйство смогу поднять, а, Владимир?..

Вовка робко пожал плечами.

— А ты, поди, есть хочешь? — спросил вдруг дядя Иван.

Вовка хотел ответить, что нет, не хочет, да как-то самовольно кивнулось.

— Это хорошо! — обстоятельно сказал дядя Иван и, сняв сумку свою, вынул из нее хлеба, огурцов и бутылку молока, заткнутую газетной пробкой. Молоко было вареное, и желтые пенки забивали горлышко бутылки. Дядя Иван все продолжал рыться в своей сумке, и тогда Вовка сказал:

— Дядя Иван, ты соль, что ли, ищешь? Дак у меня полно ее! — Он достал соль и оставшиеся еще печенинки.

— Вот и хорошо! — сказал дядя Иван.

И оба они принялись есть, по очереди отпивая молоко из бутылки.

А потом дядя Иван долго курил, глядел на воду, и Вовка вдруг сказал:

— А домой я все равно не пойду!

— Пойдешь! — спокойно сказал на это дядя Иван. — Пойдешь, пойдешь, Владимир... Привык потому что. Вон и коровкам отвыкнуть сразу-то больно трудно, все ворочаются. А ты же человек, да еще дите все-таки. У человека-то ничего прочнее родного дома и нету. Для него без дома — смертельно. И все тут. Пройдет немного времени, и ты сам поймешь, что все оно так.

— Я в пастухи пойду! — сказал тогда Вовка.

— А пастухов-то теперь, хочешь знать, и нету! — сказал, исхитряясь, дядя Иван.

— А кто есть? — изумился Вовка.

— Животноводы теперь есть, — сказал дядя Иван.

— Ну, значит, животноводом.

— А летчиком не хочешь? — еще хитрее прищурился дядя Иван. — В кожане и в хромовых сапожках бегать будешь.

— Я коров люблю, — ответил Вовка, пересиливая себя, потому что летчиком ему тоже захотелось вдруг быть.

Дядя Иван опять добро погладил его по волосам, а Вовка покраснел.

Наконец, дядя Иван надел свою кепку, натянул сапоги, попрощался серьезно, за руку, встал и ушел, прямой, долгий, вроде хороший, а на лицо все равно страшный. К себе, на подсобное свое, ушел.

А Вовка посидел, посидел да и уснул.

Домой возвратился он, когда солнце уже склонилось к заходу. Папка только-только вернулся с работы, а мамка крутилась по дому. Папка ел на кухне и не обернулся даже, когда он, Вовка, вошел, а мамка поглядела, будто ничего он и не натворил днем.

— Мой руки и садись. Суп как раз горячий! — сказала она.

Вовка выскочил в сенки, скинул ватник и сумку, залетел обратно, умылся и тихо присел к столу. Папка в это время уж кончил есть, закуривал.

— Ну, хмырь болотный! — сказал папка и улыбнулся, выпуская дым жирными после еды губами. — Думаешь, мне не жалко Ночки? Еще как! Думаешь, мы с матерью не переживаем? Хм...

— Папка, мамка, простите меня! — зашептал Вовка, кусая губы. — Я больше не буду...

— Больше, верно, не будешь... Потому что и Ночки больше не будет, — сказал папка.

— А дядя Иван говорит, что он их, коровок-то, не отбирает, а сохраняет. Правда?

— Дядя Иван, как он там сам говорит, утопист. Утопнет со всеми своими мечтами, — сказал папка.

— Как же, больше слушай дядю-то Ивана! — сказала мамка.

Пока Вовка ел, папка все чего-то во-

прислушивался Вовка к его хлопотам.

Наконец, папка сказал:

— Ты скоро там? Пойдем по болотам полазим. Начнем с молока на уху переключаться...

Опять, как и вчера, до красного закатного неба, шарили они по протокам, по гладкой вечерней воде, на которой, сухо скоробившись, как на чем-то твердом, лежали первые, отпавшие от березок листья. Дымила труба литейки, полохнулся флажок на водонапорной башне, и кто-то в окраинной улице взад-вперед прокатывал на мотоцикле. А вдалеке, к подсобному, выгоняли из лесу казенных коров, среди которых была нынче и Ночка...

И опять Вовке думалось, что он никогда не сможет променять на город всей этой родной красоты. Вот только хотелось теперь выучиться на летчика, чтобы бегать в кожаной куртке на молниях и в хромовых, блестящих сапогах, как у поселкового милиционера капитана Шишкина... А вот как этого добиться, чтобы и здесь жить и на летчика выучиться?..

А уже на причале, в полных почти что сумерках, подошел к ним дядя Иван, возвращавшийся в поселок со своего подсобного.

— Ну, сколь живцов, Николай, выудил?—спросил он и подмигнул Вовке.

— И верно, что одни живцы остались,—усмехнулся папка.—Все проходы «фитилями» перегорожены. Куда ж ей деться.

— Я бы,—сказал тогда дядя Иван,— сначала бы воду спустил и потом всю эту кашу бульдозерами подгрёб до песку. Сколь ее здесь будет, до песку-то? Мет-

ра два-три? Все б выгреб! А после снова напустил бы воды. Развел линия, карпа или как там, сазана... И все тут. Город — рядом. Это сколь же рыбок изо всех бы болот можно было тогда вычерпывать? Да на одной рыбке можно было бы несколько хозяйств поднять...

Всю дорогу до поселка дядя Иван продолжал мечтать. По-своему мечтать. Подолгу. Все: кабы не бы, так выросли грибы...

А когда вошли в улицу, перед тем, как разойтись по разным сторонам, дядя Иван тихо сказал папке:

— За деньгами завтра приходи. Будут...

«Это за Ночку!»—догадался Вовка.

— Да уж не прозеваю!—усмехнулся папка.

Дядя Иван и папка пожали друг другу руки, и дядя Иван, худой, долгий, в брезентовом своем плаще и с сумкой через плечо, пошел в свой край улицы.

— Папка, а почему он один живет?—спросил Вовка, когда дядя Иван отошел порядочно.—Что ноги у него страшные, никто с ним жить не хочет, а, папка?

— Да нет,—замаялся папка.—У него в войну всю семью перебило. Вот он сюда к нам и приехал, да ни с кем не сошелся как-то... Один по себе живет.

— Правда, папка, а он хороший, дядя-то Иван?— снова спросил Вовка.

— У него жизнь была тяжелая,—уклончиво сказал папка.

— Это хорошо, ага?—спросил Вовка, забегая вперед и снизу заглядывая папке в лицо.

— У кого как получается,—ответил на это папка.

Что такое телевизор? Для обитателя большого города — это дополнение к театру, стадиону, филармонии. Иное дело — житель далекого таежного поселка или нефтепромысла. Для него телевизор — все сразу: и театр, и кинозал, и филармония, и стадион, и даже немного библиотека — не так-то просто купить «в глубинке» ходовую книгу. Особенно в такой «глубинке», как Ямало-Ненецкий округ.

В Лабитнанги работники стройуправления Даниил Менчинский, Игорь Фесько и Александр Долгополов решили строить мощную антенну. Как-никак до Воркуты 140—150 километров, да еще Полярный Урал на пути. Смонтировали и проверили усилители, соорудили вышку с подвижной телескопической антенной, общей высотой 33 метра. В конце 1963 года приступили к приему передач.

Увы, телевизор принимал только звук.

Мешают горы. Но при случае могут и помочь. А как? Установить на вершине ретранслятор?..

Новая идея требовала времени и средств. Тут-то и пригодилась настойчивость Даниила Менчинского — и насчет вертолета договорился, и окружающих связистов убедил принять участие в экспедиции. Словом, в мае они собрались на одну из вершин Полярного Урала, с отметкой «1134 метра», рядом со знаменитой горой Ра-Из.

Было их четверо: Даниил Менчинский, Игорь Фесько, старший инженер окружной конторы связи Юрий Останин и мачтовик Саша Скурихин. Обнарядили оборудование, запаслись продуктами. Наконец 17 мая МИ-4 унес их в горы.

Вершины приближались стремительно. Но облака, туман... Только иногда сквозь разорванные ветром облака показывались, словно выхваченные лучом прожектора, отдельные груды темных валунов или черные провалы ущелий. И вот вертолет завис над каким-то пологим склоном.

— Выгружайтесь! — бортмеханик открыл дверку.

Пассажиров будто ветром выдуло из кабины. За минуту все четыреста килограммов груза оказались на каменистой земле: передвижная электростанция и спальные мешки, телевизор и газовая плита, мачта с антенной и съестные припасы.

Еще мгновение — и вертолет, неловко крунувшись над пятачком, ушел. Они остались одни на полускрытой туманом горе. А когда туман стал рассеиваться, чуть не взвыли от досады: их высадили совсем на другой горе! Вершина «1134» оказалась в стороне и намного выше. Зато метеостанция Ра-Из, наоборот, была почти рядом, хотя ей полагалось быть далеко внизу.

В сибирской «службе погоды» Ра-Из занимает несколько необычное место. Пожалуй, это самая «возвышенная» метеостанция во всем рай-

оне. Потому и показатели ее приобретают особый интерес. Зацепится за уральские вершины низкая пелена туч, станция сообщает: облачность сплошная, состав такой-то, направление ветра такое-то. Ляжет на каменные бока гор первый пухлый снежок, Ра-Из дает сигнал: зима идет в наступление.

А во всем остальном тихо, скучновато на высотной метеостанции. Разве что взберутся изредка в гору вездесущие туристы. Так и живут на особицу Погуляевы: отец, мать и дочь. Начальник и два наблюдателя.

Словом, новым людям на метеостанции всегда рады. Особенно таким: может, на самом деле доведется по телевизору Воркуту смотреть? А Алексей Игнатьевич — начальник станции — загорелся надеждой: может, ребята помогут в станционной радиоаппаратуре разобратся? Ба-рахлит что-то.

Но на первых порах помощь понадобилась им самим. Разговор завели после ужина. Как подняться на самую вершину горы с таким большим грузом?

Ну, хорошо, спальные мешки, палатку, еду, даже телевизор на горбу утащить можно. А движок?

— Стойте, придумал! — воскликнул вдруг Алексей Игнатьевич и убежал из комнаты. Вскоре он появился, держа в руках обыкновенные лыжи.

— Чем не сани?

Сразу принялись за дело — благо, и ночью

светло. Прибили поперек две палки, на них — лист фанеры. Правду говорят: голь на выдумки хитра.

В первый заход погрузили всю аппаратуру: телевизор, антенну, электростанцию. Из веревок и ремков соорудили лямки, запряглись по-бурацки.

На исходе пятого часа поднялись на вершину.

Разгрузили сани. Легли прямо на снег, бездумно разглядывая вышедшее из-за облаков солнце. Потом Игорь Фесько взялся за телевизор, а следом за ним, не понукая друг друга, поддели и остальные. Один стал натягивать антенну, другой отрегулировал электродвижок. Все это так, даже без особой надежды на успех.

И ахнули.

На экране телевизора четко, будто специально вычерченная для них, сияла таблица настройки.

На радостях вызвали по радиции Погуляева:

— Метео, я — теле! — весело шумел Менчинский. — Метео, я — теле! Таблица — как картинка. Сегодня будем смотреть программу. Смотреть программу. Как слышите? Прием.

Видимость была замечательная, будто передающий центр совсем рядом. Говорят, что после вынужденного перерыва ярые читатели газет проглатывают все — от заголовка передовой до телефонов редакции. Так же, примерно, упивались они долгожданной передачей — и входным



Евг. АНАНЬЕВ

титром с терриконом и угольными вагончиками, и последними известиями, и объявлениями «требуются на работу», и веселым, едким спектаклем «Лисистрата». Справедливости ради надо отметить, что никто из ребят так и не мог потом вспомнить содержание спектакля. Каждому свое — в тот момент их интересовали, в основном, проблемы технические: звук, изображение, контрастность, четкость.

Погода между тем портилась. Под вечер пошел снег. Мокрые крупные хлопья облепили антенну, снова одели белым отогретые днем валуны. Покатые бока палатки провисли от неожиданной тяжести. Но внутри было тепло и сухо. А главное — даже в такую непогоду видимость на экране ничуть не ухудшилась.

Утром первым проснулся Саша. Верный своему режиму, он выскочил наружу для зарядки. И вдруг остальные услышали его недоуменный голос:

— Чудеса... Что это?..

Торопясь, чуть не выпрыгивая из спальных мешков, выбрались из палатки. И остановились, как вкопанные: все вокруг было окутано густой белесой мглой. Растаяла антенна. Исчезли соседние гребни гор. Темным размытым пятном виднелась палатка. Даже Сашу, сделавшего несколько шагов, можно было «засечь» только по голосу. Он тревожно окликал товарищей.

Первым пришел в себя Даниил: «Облако! Мы сидим в туче!»

Новый день начался весело. Он был, как на заказ, воскресным, и детские передачи шли с утра. Еще одна приятная новость: даже такая небесная муть не влияла на трансляцию.

Впрочем, нет, влияла. Как ни пытались они оградить палатку от внешнего мира, облако по каким-то мельчайшим щелочкам все-таки прони-

кало в нее. По телевизору текла вода, экран словно слезился. Все чаще приходилось вытирать его тряпкой. Саша уже предлагал приспособить «дворник», как на ветровом стекле автомобиля.

Вдруг в палатке неожиданно потемнело. Погас экран. Игорь Фесько открыл заднюю крышку телевизора...

— Так и есть, — сказал он с досадой. — Сопротивление сгорело.

— Заменить можно?

— Нечем заменить, последнее. — Даже невозмутимый Игорь вышел из терпения. — Отбой, к чертям собачьим! Занесло на рога...

Игорь, всегда спокойный Игорь взорвался — такого маленькая экспедиция еще не знала. Палатка растерянно замолкла.

Разрядил эту напряженную тишину спокойной, даже несколько ленивый голос Даниила:

— Так уж и отбой. Погоди, скоро сеанс со станцией, у Алексея Игнатьевича справимся. Должен же быть у него ремкомплект для рации.

Горячий, экспансивный Даниил Менчинский в роли миротворца и вспыхивший Игорь Фесько — они словно поменялись ролями. Все на мгновение оторопели. А потом грянул хохот.

И опять мирно в палатке. Менчинский прилагивает к уху трубку-микрофон.

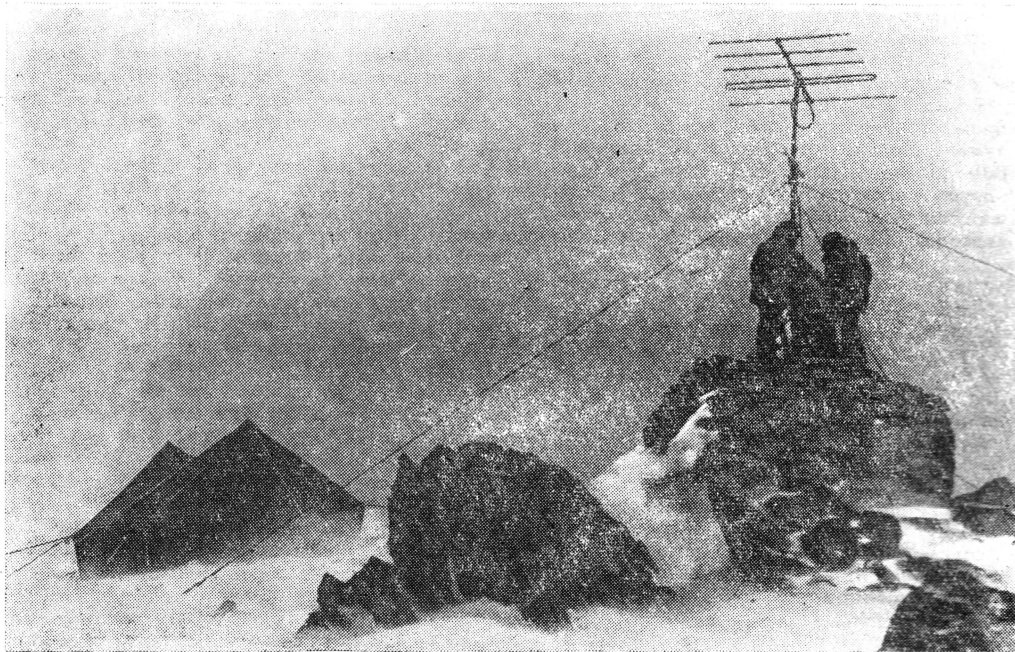
— Метео, я — теле! Метео, я — теле! Как слышите? Прием!

Тихо в палатке.

— Метео, я — теле! Вышел из строя телевизор. Нет ли сопротивления? — Менчинский называет его технический индекс. — Нет ли сопротивления? Прием.

Ответного голоса не слышно. Но по проясневшему лицу Даниила ясно: есть!

— Очень хорошо, очень хорошо. Спасибо, выходим к вам. Выходим к вам. Прием.



Под порывами ветра антенна качалась.



«Метео, я — теле!»
У рации Даниил Менчинский.

И вдруг Менчинский хмурится.

— Надвигается буря? Хорошо, выйдем завтра. Выйдем завтра. Прием.

В хлопотах они и не заметили, что ветер заметно усилился.

Объявили аврал. Все, что полегче, занесли в палатку. Проверили каждый колышек крепления. Разогрели на газовой плите крепкий чай, приготовили внушительный ужин, поели и залегли в спальные мешки.

К ночи буря разошлась вовсю. Потом, у Погуляева, они узнали, что по метеоданным ветер достигал 25—30 метров в секунду — настоящий ураган.

Под порывами ветра антенна качалась. Ее металлические отростки-ветки жалобно позвякивали. Тросы были натянуты до отказа. Но все-таки выстояла.

К утру ветер приутих, зато повалил снег. Метель опять заволокла всю вершину.

— Что делать, братцы?

— Идти надо, — не очень уверенно сказал Юрий. — И рассмеялся: — Эх, люблю север на печке!..

Предупредили по рации Погуляева. Все четверо обвязались капроновой веревкой, как в альпинистской группе. И пошли, словно нырнули в снежную круговерть... Как ни удивительно, спустились вниз без всяких осложнений.

Правда, на обратный путь сил уже не хватило. Вернулись на вершину Ра-Из только следующим утром.

Незаметно прошла неделя. Туман, метель, мокрый снег, морозы — всю сумму заполярных «впечатлений» испытал на себе чувствительный телевизор. И сам ответил на вопрос: девяносто километров расстояния не помеха, Воркуту можно брать.

Оставив аппаратуру и палатку на вершине, спустились к метеостанции. Отсюда их снять должен был вертолет.

Вертолет пришел 28 мая. Все четверо забрались в него налегке — и на вершину Ра-Из, где погрузили вещи. Как условились, сделали заход на место будущего ретранслятора.

Вершина «1134» встретила их безмятежной тишиной и ярким солнцем. Внизу, в отдалении, виднелись гребешки окрестных мелких вершин. Игорь Фесько вымеривал с Сашей площадку, по футбольному откидывая ногой в сторону обкатанные ветрами и снегом камни.

«Зарываться в землю придется. Сообщение жилого дома со станцией по коридору, — отметил про себя Игорь, — Легко сказать: в землю. В камень! Но все равно, другого выхода нет».

Он шагал по площадке, прикидывал расположение будущего ретранслятора. Здесь, наверное, дизельная станция, тут — сама станция. А между ними — жилой дом.

— Игорь, время поджидает! — крикнул ему из кабины вертолета Даниил. Пилот кивком головы подтвердил: пора, мол.

Обратный путь был коротким. Игорь даже и не заметил его, уйдя в свои расчеты. Ребята довольны, думают, все так просто. Нет, еще повоювать придется.

Он перебрал в памяти обязательства местных организаций: газовики берут на себя оборудование, строители — работу. Но повоювать придется. Сами убеждены, а ведь надо и других убедить. Говорят, есть предложение ограничиться телецентром в Салехарде. Странные люди — тут Москву смотреть, а там только кино крутить. А разницы в деньгах почти нет.

Кто-то хлопнул Игоря по плечу. Оглянулся: Даниил кричал прямо в ухо, пересиливая шум мотора:

— Ты что, уснул?! Гляди: Лабытнанги внизу!

МИ-4 плавно замедлял вращение лопастей. Вот они уже почти остановились. Бортмеханик открыл дверку кабины. Первым в ее арочном проеме показался Даниил Менчинский, веселый, небритый, шумливый. Он махнул встречающим меховой рукавицей и крикнул счастливым голосом:

— С телевизионным приветом!

ТЕРРА ИНКОГНИТА

Т. ЕФИМОВА

▲ На задворках



Главный инженер был человеком энергичным. Хотя, увидев его в первый раз, никто бы не смог предположить этого. Таким дородным был Николай Георгиевич и так внушительно и прочно вписывался в свой полнотражный кабинет, что, казалось, и не покидал его никогда.

В этом кабинете с утра до вечера проходили заседания и совещания. Можно было нечаянно врать в кресло от такого распорядка дня. Этого не случилось, наверное, потому, что вопрос всегда вовремя начинал «закругляться». Вдруг в полчаса решалось то, что казалось неясным и безнадежно запутанным.

В государстве, которое называется «завод», больше ухищренных дипломатов, чем в ином посольстве. Эта вторая специальность приобретает исключительно самообразованием. И каким же надо быть дипломатом над дипломатами главному инженеру, защищая интересы завода на заводе! Впрочем, Николай Георгиевич Бабаков был человеком энергичным и последнее слово на любом заседании оставалось за ним. Недаром его окрестили у нас Николаем Победоносцем.

Но надо было видеть, как он вырывался, наконец, из своего кабинета, если в заседаниях вдруг обнаруживалась брешь, маленькое свободное оконце. Главный, минуя все этажи заводоуправления, достигал цехов необыкновенно быстро характерным летящим шагом.

Он нес свою крупную фигуру из цехов в отделы, останавливаясь там, где ему хотелось остановиться. Но больше всего Николая Георгиевича влекло все-таки к конструкторам, в отдел мотористов.

На задворках отдела, втиснутое в угол за

тремя кульманами, работало новое бюро, вызванное к жизни самим Николаем Победоносцем. И здесь он по-настоящему отдыхал. Душой отдыхал. Обойдет все кульманы, посмотрит, что прибавилось в прорисовках машины, скажет:

— Если бы я работал только по воскресеньям, и то наверняка бы уже все закончил.

Заставит ребят все рассказать о планах, о том, кто, как, что думает делать. Даст дельный совет. Но вдруг спохватится и убежит. А после него конструкторы еще долго спорят и что-то как будто для них прояснится...

Это маленькое бюро было увлечением, хобби главного инженера. Потому что, хоть судьба и подняла его на верхнюю ступеньку заводской служебной лестницы, в душе он сохранил страсть к конструкторской работе, к новым машинам, ко всем этим прорисовкам, эскизам, проектам.

А началось все с того, что несколько способных ребят, молодых специалистов, увлеклись вместе с главным инженером завода идеей создания новой машины. Называлась машина турбокомпрессором. Была простой и сложной одновременно. Маленькая и с первого взгляда как будто даже незамысловатая по конструкции машина обладала, как говорят инженеры, высокой напряженностью: ротор ее турбины должен был вращаться со скоростью не менее, чем пятьдесят тысяч оборотов в минуту. Такие скорости разогревают машину до свечения. Но зачем такие обороты? Ведь задача кажется несложной: компрессор машины, жестко связанный с турбиной, нагнетает сжатый воздух в цилиндры дизелей.

Не инженеру трудно понять значение этого. Но каждый способен оценить факт, что маленький турбокомпрессор своими пятюдесятью тысячами оборотов способен намного повысить мощность дизеля. Он в буквальном смысле вдохнет в мотор новые силы.



Наш завод берет свое начало с самого первого года Отечественной войны. Он не готовился выпускать военную продукцию. Но в силу обстоятельств в дни минувшей войны он великолепно освоил выпуск легких танковых моторов.

Но война кончилась, и наши танковые моторы тоже начали приспосабливаться к мирному времени. Пошли они на маленькие колхозные электростанции, по пять штук на буровую брали их нефтяники, ставили моторы и на электропоезда, сейнеры, экскаваторы... Потому, казалось, не

резон пока заводу вкладывать силы в создание новой конструкции машины — это повлекло бы за собой коренное переустройство всего производства — легче было модернизировать старый мотор.

Однако, Николай Георгиевич Бабаков не мог не видеть, что возможности у мотора почти исчерпаны. Естественно, что заботы о будущем одолевали главного инженера.

Идея турбокомпрессора по тем временам оказалась на редкость кстати. В цилиндры дизеля турбокомпрессор нагнетает добавочную порцию воздуха, следовательно, больше можно сжечь топлива. А раз так — мощность двигателя повышается... вдвое. Арифметика этой машины очень проста: дизель плюс турбокомпрессор равняется двум дизелям. Вот почему главный рискнул создать новое бюро.

Но перед нашими инженерами открылась целина. Подражать было некому. Только в иностранной технической литературе время от времени появлялись красивые картинки турбокомпрессоров.

Однако они рассказывали конструктору не больше, чем фотография незнакомого человека.



Наш завод проходил свое воспитание-становление в годы войны. Он еще не окреп, а на него уже обрушилась необходимость: «Давай, давай! Любыми средствами!» И он «давал» свои моторы фронту, приобретая сноровку уже как новобранец.

Нельзя соединить прямой линией времена, разделенные столькими годами. Но все-таки «давай-давай любыми средствами» изживалось после войны с трудом, накладывая свой отпечаток на всю заводскую жизнь. Штурмовщина изматывала цехи и лю-

дей. В конце месяца по заводским пультам только и слышно было «давай-давай». И отступали на задний план, забывались до срока такие необходимые человеку качества, как сочувствие и взаимопонимание.

План безоговорочно требовал свои сто процентов. И каждый раз в конце месяца он становился «идолом».

Говорят, на первых чертежах уральского турбокомпрессора стоит подпись Евгения Трушина. Когда ребята сейчас вспоминают о Трушине, снова и снова начинает звучать нотка восхищения. Отличный инженер, великолепный спортсмен, прекрасный гитарист, а пел не хуже Трошина. Ему вообще удавалось все, за что бы он ни брался. Казалось, Женька найдет удачу на любой из трех дорог. Даже если выберет ту, на которой другой «и коня потеряет, и сам жив не будет».

Эту свою природную одаренность на долгие времена Евгений Трушин отдал только одному делу — проекту новой машины.

В историю турбокомпрессора, кроме имени Трушина, вписаны имена Дембо, Вальчука и еще Плюща.

Особенно много разговоров — и до сих пор — о Плюще. Он, видимо, относился как раз к категории людей центральных, вокруг которых разворачиваются события. Он обростал идеями, талантами, поклонниками, союзниками, противниками. На все у него хватало времени, воли, характера и настроения.

Вот какими людьми был крепок тот первый поход на турбокомпрессор, начатый по инициативе главного инженера завода Николая Победоносца.

Поразителен один нюанс во всей этой истории личного шефства Бабакова над новой машиной. То, что он привлекал к ее созданию почти только молодых специалистов, вчерашних студентов, хотя по логике должен был поступать как раз наоборот.

Казалось, главный инженер сознательно предпочитал смелость молодых мудрой осторожности опытных конструкторов. Молодые меньше боялись «биты» за ошибки, и Бабаков мог ожидать от них дерзких проектов. А без дерзости турбокомпрессор вряд ли бы родился. И это Николай Георгиевич понимал тоже.

▲ Измена

В один из таких нелегких дней Бабаков стоял в своем кабинете у окна и смотрел на пустой зеленый двор завода. Обычно на нем не было так пусто, потому что рабочие чаще устраивали перекуры и задерживались, чтобы перекинуться двумя-тремя словами друг с другом.

Сегодня кругом было пусто. Напряженная жизнь угадывалась только в заводских корпусах. К Бабакову она врывается с телефонными звонками, с посетителями. От него требовали, и он в свою очередь требовал категорично и так резко, как позволялось только в конце месяца.

Между двумя телефонными звонками и между двумя посетителями Николай Георгиевич обдумывал, в который раз уже, что ему, наконец, делать с новым конструкторским бюро турбокомпрессоров. Он взвешивал бесконечные «за» и «против». Но до сих пор не выработал для себя окончательного стратегического плана. Однако сегодня Бабаков больше задумывался о возможном отступлении. Сегодня Бабакову ясно

представилось, что заводу не вытянуть капризную конструкцию.

Вначале, как часто бывает, когда все неопределенно и нет еще точного представления о конструкции, машина кажется проще, чем на самом деле. Но вот раз за разом выясняется, что она требует новых технологических процессов, нового оборудования. Вот так и турбокомпрессор, который прежде всего требовал освоения точного литья.

Одно это могло перепугать самого смелого главного инженера, будь он на таком заводе, как наш.

Здесь ведь участок точного литья помещался на пятачке и выпускал в то время только простенькие детали.

— Кончат? — спросил себя Николай Георгиевич, и ему захотелось вот сейчас же, сию минуту принять решение.

Он говорил себе: «Завод есть завод. У завода прежде всего план. Так что пусть уж институты сначала отработывают головные образцы.

Отступление ребята, конечно, воспримут как высший акт несправедливости — сам-де увлек! Но опять же, где я могу найти для них ну хотя бы площади?..»

День был длинный и неприятный. Главный размышлял и пытался отвлечься, но все-таки чувствовал, как лихорадит завод. Те, кто заходил к нему время от времени в кабинет, сегодня, в конце месяца, были измотаны хронической штурмовщиной, как тяжелой болезнью.

«От людей нельзя сейчас требовать выдержки, в такой обстановке и машина изнашивается. И все же, чего он кричит?» — думал главный инженер, глядя на начальника цеха, который залетел к нему и возмущается тем, что кто-то занял у него подсобное помещение: «Работать не дают!»

— Чего вы кричите? — спросил главный.

— Да с какой стати, Николай Георгиевич, я им буду отдавать свою площадь, если у нас самих тесно!

— Так гоните их! — говорит главный инженер, уже догадываясь, о ком идет речь.

Но начальник только покосился недоверчиво.

— Гоните, — повторил, однако, Бабаков. — Я им санкции на вселение не давал. Развели, понимаешь, самостоятельность на заводе!

Так главный инженер поставил точку на своем хобби.

Это было необъяснимо, но еще более необъяснимо было другое: после полного крушения и разбитых надежд вдруг мгновенный взлет и еще более дерзкие надежды. И все это в результате только двух распоряжений Николая Победоносца, которые последовали буквально одно за другим. Первое было: гнать! А второе — дать. Дать новое помещение под мастерскую турбокомпрессора. А между этими двумя приказами случилось вот что.

Начальник цеха, покинув кабинет главного инженера, немедленно распорядился ломать замки и выкидывать имущество «противника». Утром когда конструкторы пришли на завод, работать оказалось негде. Можно было, конечно, ходить руки в брюки. Они и ходили так, пока не разобрались, кто и почему выбросил их на улицу. А когда разобрались, появилось решение. Массовым тиражом они отпечатали фотографии своего выброшенного имущества и, драматично описав ситуацию в «молниях», расклеили их по заводу.

— Желтая пресса! Мальчишество! — загремел Бабаков. И вслед за этим поступил нелогично и, как определили конструкторы, таинственно: дал приличное помещение.

Был главный недоволен, неприветлив, держался с ними, как с назойливыми посетителями. И все-таки оставалось в нем что-то и от прежнего единомышленника. Задавал вопросы о машине вскользь, но ответы выслушивал от слова до слова очень внимательно.

Ребята шутили, что когда говоришь с Бабаковым, в глазах двоится.

А у главного душа раздвигалась.

В конце концов Николай Победоносец заглушил бы до конца собственную увлеченность в угоду куда более деловым вещам. И удалось бы ему отступить, сказав: я тебя породил, я тебя и... Но не надо забывать, что менялось и время само, а не только отношение главного инженера. И время было благосклонно к турбокомпрессору.

▲ Полный простор



Работа конструкторов Уральского турбомоторного завода над маленькой, напряженной «турбинкой» уже получила известность в стране. За ее ходом внимательно следили на предприятиях, родственных нашему, тоже выпускающих дизели. На одном из крупных тракторных заводов, по слухам, даже разрабатывали подобную машинку. Но держали это в большом секрете, чтоб, не дай бог, в план не включили. А включают в план — установят сроки, отвечай потом за недоделки! Был там, видимо, свой дальновидный главный инженер.

Наконец, ЦНИДИ — стечественный научный институт дизелей — сообщил о своих работах. И вслед за этим вышло постановление министерства, рекомендуемое дизельным заводам организовать у себя производство турбокомпрессо-

ров. О нашем Турбомоторном говорилось особо, как о заводе-пионере.

Процесс, что называется, стал уже необратимым, и в 1959 году конструкторское бюро получило законное оформление. И занимало даже своего главного конструктора — Михаила Михайловича Ковалевского.

Однако завод по-прежнему особенно не спешил выделить средства для оборудования специальной экспериментальной лаборатории. Но без особой затраты средств удалось достать конструкторам в аэропорту Кольцово списанные в лом камеру сгорания, топливную аппаратуру, приборы, без чего турбокомпрессор испытать было нельзя. Сами же и строили лабораторию.

На время, кажется, оставили все раздумья над проектом машины, потому что приходилось кирпичи класть, монтажными работами заниматься и слесарить.

Только на стенах поднимающейся лаборато-

рии, на случайной доске, на полу возникали и не стирались меловые контуры затейливого цветка — венца турбины. Споры вспыхивали неожиданные и яростные. Простор для мыслей был необыкновенный. Ни тебе сведений от соперников, ни тебе специальной литературы... Твори, выдумывай, пробуй! Открывай свою «терра инкогнита» — неведомую землю.

Каждое утро они ходили всем бюро вслед за прорабом.

Хозяйство у того на заводе было большое, он мог и на неделю забыть о лаборатории.

— Слушай, Чадюк, сделай, будь другом... — этим начинался каждый день.

А Чадюк выламывался:



Золотое было время, несмотря ни на что.

В спорах, которые постоянно вихрились вокруг турбокомпрессора, рождая истину, мнение чинов решающим не признавалось. Все были, казалось, равны и равно ответственны за порученное им большое дело. Возможно, такая непринужденность и дух товарищества исходили непосредственно от главного конструктора Ковалевского, который больше всего ценил в подчиненных инициативу.

Первый турбокомпрессор был испытан в ночь под Новый год. Так случилось. И сейчас, когда это стало историей, в бюро жалеют, что даже не сохранили обломков первенца на память. Он тогда «вздыхнул и разорвался на все свои составные».

Впрочем, как же! Ведь должна была остаться фотография... Кто из них снимал тогда? — каждому так хотелось самому запечатлеться с первой «турбинкой».

Трушин влез повыше — на стремянку и руководил «расстановкой кадров». Смутился и острил, потому что выходило уж очень торжественно.

Им было по двадцать пять.

Да эта фотография, возможно, и осталась у кого-то в альбоме.

Турбокомпрессор не проработал и минуты. Его разнесло. Было это обидно, потому что в первой машине учитывались рекомендации научного института — ЦНИДИ, который как будто уже имел к тому времени собственных два работающих турбокомпрессора.

Хорошо было бы заполучить один из «работающих» образцов, чтобы выяснить, в чем тут дело — в чем разница? Но куда там! Вокруг институтских турбинок только что стража не стояла: ведь их было всего две.

В таких случаях, говорят, помогают связи, контакты. И у конструкторов нашелся один знакомый знакомого, который под свою ответственность передал им образец. Но наказал при этом:

— Ребята, не разбирать! И не разгонять здорово, только в номинальном режиме!

— Да ты что?

— Только с таким условием.

Но это условие было как раз тем, которое

— Каменщика дам, а подъемника нет.

— Не надо подъемника, мы так... — и грузили кирпичи на носилки.

Даже неблагоприятность прораба была отголоском того отношения, которое установилось в заводских кругах к их бюро.

Рождение новой машины требует к себе всегда полной благожелательности, когда же ее нет, открываются необъятные возможности для волокиты. На заводе все еще никак не решались принимать турбокомпрессор в семью своих машин, и отношения поэтому между его создателями и дирекцией складывались сложно. Но, к счастью, судьба турбокомпрессора оказалась в руках энтузиастов.

▲ В конфликте с наукой

никак не устраивало. Взвесив все обстоятельства: кому и как влетит, как это «отразится» на здоровье «знакомого одного знакомого», конструкторы во имя будущего турбокомпрессора постановили: «рвать!»

И рванули!

Обломки институтского образца рассказали нечто другое, чем все официальные рекомендации. Они поведали, что в институте возились с этим турбокомпрессором скрупулезно, нудно, вручную подтачивая, подшавривая, облизывая каждую деталь.

Нет, такой метод доводки машины не мог подойти Турбомоторному заводу. Он не отвечал условиям серийного производства, когда выпускаются не образцы, а сотни и тысячи машин.

Нужно было искать менее капризную конструкцию.

Но если запланированная авария не дала положительной информации, отчего же ребята так веселы? Еще и подшучивают над одним из своих:

— Слушай, Школьник, ты бежал от взрыва, как на стометровке!

— Он хотел сохранить себя как штатную единицу...

— К сожалению, рекорд не зарегистрирован, так как бежал он не по прямой, а зигзагами.

Отчего же они так веселы? А знаете, особого повода не было, разве что инженеры уяснили себе некоторые вещи: равняйся на институт, да оглядывайся — «чистая наука» не всегда подходит обыкновенному заводскому производству. И второе — успех не лежит на поверхности, он все-таки глубже, так что неплохо запастись терпением.

А терпения хватало не у всех...

Сохранилась своеобразная летопись турбокомпрессорного бюро, вернее, некий дневник, который показывают только посвященным. После долгих переговоров дневник попал в мои руки.

И вот читаю: «Домнышев рос и возмывался по мере роста к.п.д. турбокомпрессора. Соавтор всех конструкций турбокомпрессора до 1963 года. Уехал в Челябинск, к маме».

«Дембо... Пришел к власти в бюро в период идейного разброда и шатаний. Искусный дипломат, блестящий кавалер. Пал, однако, жертвой интриг. Разменял одну квартиру на три и скрылся».

«Дорошкевич. При проведении экспериментов особое внимание обращал на подготовку приборов и инструктаж наблюдателей, но не ве-

рил показаниям ни тех, ни других. Крутящие моменты определял по шуму подшипников. При отсутствии шума создавал его своим брюзжанием. Уволился».

Сколько, однако, здесь этих увольнительных записок! Тетрадь оказалась своеобразной историей отдела, увековеченной пером очевидца. По датам, представленным в дневнике, можно проследить, когда же были у конструкторов особенно тяжелые времена.

Одну за другой перелистываю страницы. Вот о Трушине... Вот о Плюще...

«Плющ. Выдающийся полководец и профсо-

юзный босс. Славился упрямством и неумолимостью. Выдвинул идею независимости турбокомпрессора от дизеля и вообще от Турбомоторного завода.

Был разгромлен в сражении с Бабаковым, бежал на Украину, где организовал свой курень».

Справедливости ради, надо сказать, что редко кто из этих людей окончательно порывал с турбокомпрессором. Наоборот, многие сейчас продолжают начатое. Но на Турбомоторном эти ребята не остались, к сожалению. И их детище «болело», крепло и становилось на ноги без них.

▲ Чем кончилось



В их турбокомпрессоре, кроме всех прочих недостатков, были нестойкие подшипники. На какое-то время подшипник стал проблемой «номер один» для всего бюро. Рисовали, говорили, спорили, ругались и только на тему: «подшипник».

Прорисовки, эскизы плодились, плодились и размножались, пока из всего вороха не начали определяться четкие контуры узла.

Говорят, озарение, снисходящее на конструктора, подобно удару взведенной пружины. Если были затрачены очень большие усилия на решение задачи, долгое время напряженно думалось о ней, тем самым взводилась пружина творчества.

И настал день, когда Трушин предложил вариант подшипника. Все было просто до гениальности: между стальной втулкой и валом ротора свободно вращается, плавают бронзовая втулочка. Вязкая смазка заставляет ее вращаться с половинной скоростью по сравнению с ротором. Вот и все.

Когда же они изготовили этот новый подшипник и поставили на турбокомпрессор... пятнадцать минут, целых пятнадцать минут работала их турбинка. А потом... Потом они бегали к ней через каждый час и уже не знали, что делать — целоваться или пока еще нет. А потом все разнесло так, что нечего было собирать, только подшипники остались целехонькими.

Это была крупная победа. Конструкторы как будто разом пролетели в лифте несколько этажей, хотя до сих пор поднимались к успеху ступенька за ступенькой, не пропуская ни одной,

...Однажды после очередного совещания, как всегда длинного, позднего, Николай Георгиевич Бабаков возвращался домой. Шел усталый, стараясь переключить мысли на домашние заботы.

У заводской проходной он столкнулся с группой инженеров. Шли они весело и шумели, по всему видно, празднуя свой какой-то успех.

Бабаков узнал их сразу. Это были ребята из лаборатории турбокомпрессора. Впрочем, среди знакомых лиц были уже и новые — прежде их не видел.

Как они обрадовались ему, человеку, способному понять и оценить то, что произошло с ними недавно, что стало причиной их приподнятого настроения! И тут же стали рассказывать о последнем удачном испытании машины, вот только-только завершившемся.

— Пора турбокомпрессор запускать в серию, Николай Георгиевич.

— Пожалуй, — согласился Бабаков. — С будущего года.

У ребят было уж очень хорошее настроение, только поэтому кто-то нахально намекнул на то, что турбокомпрессор все-таки, как-никак, крестник главного инженера, так что нельзя ли пораньше?

— У меня один крестник — государственный план! — отрезал Николай Георгиевич.

Вот так Бабаков признал и принял турбокомпрессор окончательно. И «хобби главного инженера» превратилось еще в одну капризную и трудную машину, которую предстояло осваивать, запускать в серию и включать в заводской план. Но это для Николая Победоносца было делом привычным и обыкновенным.

„ТАМ, ГДЕ ВСЕГДА МОРОЗ...“

Это в Магаданской области. Здесь все, как поется в песне: и мороз всегда, даже в разгар лета бывает, и белые медведи бродят по берегу океана в поисках той самой земной оси, потерявшись спиной о которую, они заставят наш „шарик“ вращаться быстрее.

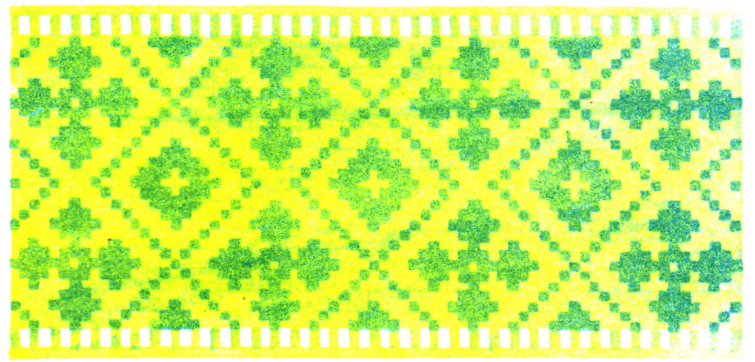
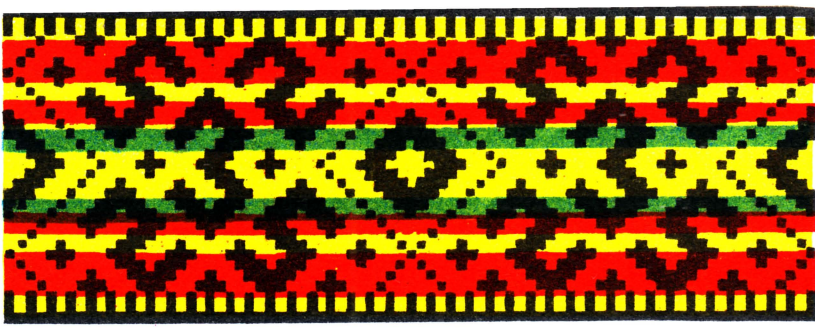
Есть здесь и моржи. И не только те, которые живут на льдинах и вооружены мощными бивнями. В бухте Нагаева нередко можно увидеть магаданских „моржат“ в красных купальниках. Поскольку „моржатам“ нередко приходится пользоваться нерпичьими лунками, бывают и такие встречи (снимок 1).

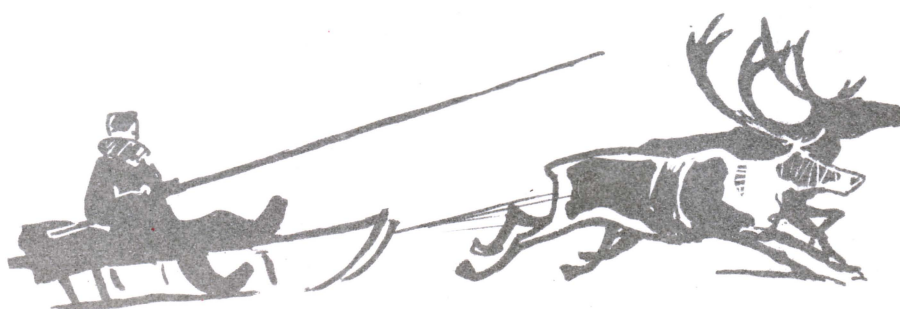
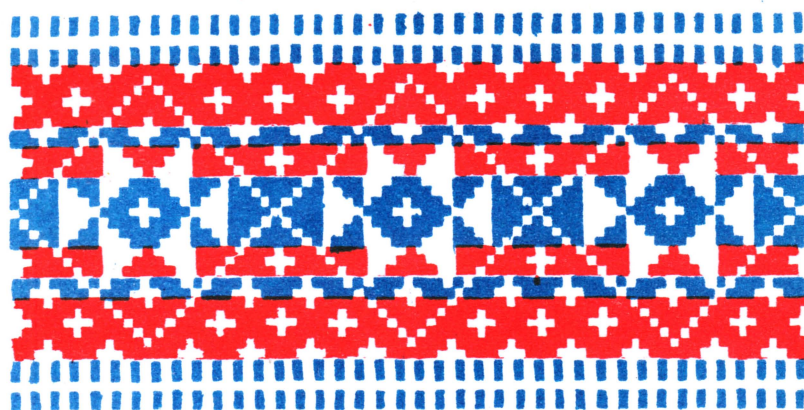
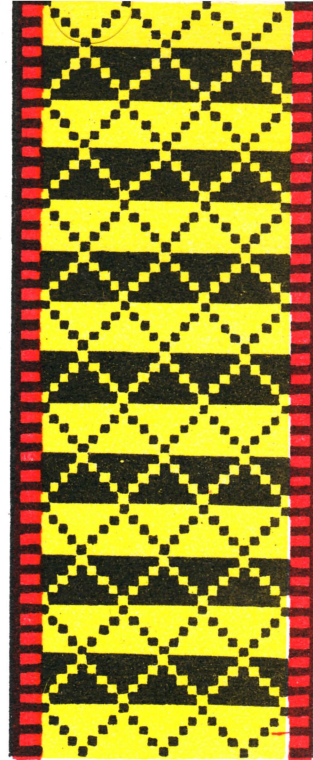
А весну, как и всюду, в этот край приносят перелетные птицы. Рядом с вечными, не тающими даже в конце лета, снегами — густые хвойные леса. Вот там-то и можно встретить глухаря, услышать его весеннюю песню (снимок 2).

Но главная достопримечательность и главное богатство Магаданской области — золото. Каждый год находят здесь самородки. Самый большой из них, найденный на Колыме, весит четырнадцать килограммов! (снимок 3).

Снимки Б. Коробейникова







ПОЯСА ИЗ ПАРМЫ

Читайте на стр. 65



Г. ПЕЧЕННИКОВ (*Волгоград*)

ЖИВОЙ!

ПОЯСА ИЗ ПАРМЫ

Коми-Пермяцкий национальный округ... Непроглядные стены леса вдоль дорог, отражения вековых сосен в холодном зеркале рек, безбрежная синь пармы (тайги). Лес, лес... — богатство и гордость здешних мест.

Но не одним лесом живут и жили люди округа. Замечательные искусства издавна развивались здесь: деревянная скульптура, резьба и роспись на предметах быта, узорное вязание и ткани. В разные формы вылились красота и тепло души людей сурового лесного края.

Обязательным предметом одежды коми-пермяков еще в начале нашего века был тканый пояс. Мужчины привязывали к нему деревянные ножны с небольшим ножом и огниво, закладывали за него топор, а женщины хранили на своем поясе ключ от коробейки с одеждой и другими вещами.

Тканый пояс. Что, вроде, в нем особенного? А по нему воздавалась хвала невесте. Дело в том, что у коми-пермяков издревле существовал обычай, по которому невеста во время свадьбы дарила своему жениху, его родне, сватам самотканые пояса. Поэтому каждая девушка стремилась вы ткать такой пояс, который не уронил бы ее в глазах односельчан. Матери и бабушки из поколения в поколение, на протяжении нескольких веков передавали свое мастерство молодым.

Молва об искусных мастерицах, об удавшихся узорах выходила далеко за

пределы одной деревни, но вряд ли хоть одна мастерица догадывалась, что она создавала подлинные произведения искусства.

Пояса многих мастериц по-иному и не воспринимаются, в них восхищает все: жизнерадостность расцветки, геометрическая четкость рисунка, тонкость исполнения. Поражает и то, что при сравнительно небольшом «наборе» основных орнаментальных форм и цветов, почти каждый пояс отличается своим оригинальным решением.

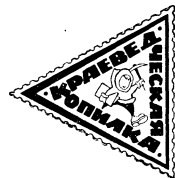
Сама идея тканого пояса, по всей вероятности, не местная, она занесена сюда торговыми людьми. Коми-пермячки на свой лад освоили геометрию узоров, приблизили к своим национальным особенностям, создавая пояса совершенно самобытные по рисунку.

Тканые пояса, как предмет одежды, давно отжили свой век, но было бы несправедливо забыть древнее национальное искусство, которое коми-пермяки выпестовали и бережно пронесли через века. Поэтому орнамент поясов сейчас собирают и изучают. Надо надеяться, что он займет достойное место в книгах об искусстве прошлого и найдет применение в настоящем.

А пока я предлагаю читателям журнала несколько узоров, зарисованных летом 1967 года в деревнях Коми-Пермяцкого национального округа.

Г. КЛИМОВА 65

В ПОИСКАХ «НАКАЗОВ»



В истории Урала есть немало таинственных страниц, которые лишь постепенно раскрываются учеными. Об одной такой попытке раскрыть тайны прошлого Урала мне и хочется рассказать.

Двести лет тому назад, в 1767 году Екатерина II, стремясь заглушить поднимающийся ропот и волнения бесправного крестьянства и в то же время укрепить власть господствующего сословия — дворянства, собрала комиссию для составления нового свода государственных законов. В нее вошло 576 депутатов, выбранных, главным образом, от дворян и купцов. Были среди депутатов и крестьяне, но лишь государственные (в том числе шестеро с Урала). Крепостные туда не допускались.

Приписные крестьяне в принудительном порядке работали на заводах, на рубке дров, на заготовке угля, на добыче руд. Положение их при заводах было весьма тяжелым, но они числились государственными и поэтому получили право посылать своих депутатов в комиссию.

Все депутаты привезли в комиссию «наказы» от своих избирателей, в том числе и приписные крестьяне. Впоследствии, в конце XIX и в начале XX века, в сборниках Русского исторического общества были опубликованы «наказы» дворян и купцов, а также несколько (14) сводных «наказов» приписных крестьян Южного и Северного Урала. Другие «наказы», и притом наиболее важные — первичные, относящиеся к Среднему Уралу, не были опубликованы, и многие историки не знали даже, существуют ли они. Лишь теперь эта тайна раскрыта.

В 1928 году я опубликовал статью «Пугачевское движение на заводах Южного Урала». На Урале во время крестьянской войны 1773—1775 гг. было массовое движение горнозаводских рабочих. Мне хотелось выяснить, почему возник-

ло это движение и какую роль в нем играли приписные крестьяне. В статье я использовал опубликованные «наказы» приписных крестьян Южного Урала.

Статью положительно встретили историки. Во время беседы с профессором С. В. Вознесенским, одним из редакторов сборников, где печатались когда-то «наказы», выяснилось, что в сборнике, подготовленном для издания и не вышедшем по случаю первой мировой войны, были «наказы» приписных крестьян всех районов Урала. Старый профессор предложил мне взять их в подарок. Я поблагодарил его, но не взял, так как был уверен, что это копии, а подлинники находятся в архивах.

Но когда я, позднее, приступил к этой теме... Впрочем, вот как это было.

В 1945 году я вернулся в Ленинград и стал искать в архиве «наказы» приписных крестьян по Среднему Уралу.

Велико было мое огорчение, когда выяснилось, что в Центральном государственном архиве Ленинграда, где находились тогда документы комиссии 1767 года, этих «наказов» не оказалось. В архивной описи против дела № 102 была печальная отметка: «нет».

Что же делать? Профессора С. В. Вознесенского уже не было в живых, он погиб в 1940 году. Тогда я стал разыскивать его жену. Она уже переехала на другую квартиру, но сохранила остатки архива мужа и любезно открыла мне двери в кладовку, наполненную набитую бумагами. Все это предполагалось вскоре отдать в макулатуру. Облачившись в широкий сарафан для защиты от пыли, принялся за разборку бумаг. Поиски затянулись. Временами казалось, что они бесполезны — «наказов» здесь нет. Лишь на самом низу нашлась заветная папка.

Радость моя была огромной — я нашел подлинно драгоценный клад. Здесь оказа-

лись как раз те «наказы» крестьян, подлинники которых остались неизвестны историкам. (Всего было 38 «наказов», среди которых 27 первичных «наказов» Екатеринбургского ведомства).

Ценность их несравнима с теми, что уже публиковались — это были первичные «наказы», а не сводные. Первичные более полно и более правдиво описывали положение приписных крестьян. Когда готовились сводные «наказы», то из первичных исключались требования чисто крестьянского характера. Приписной крестьянин при этом превращался в обычного заводского человека, который якобы был охвачен, главным образом, стремлением улучшить свое производственное положение на внезаводских работах. В таком виде, основываясь на опубликованных сводных «наказах», и изображалось положение приписных крестьян как в досоветской, так и советской исторической литературе.

И вот я смотрю первичные «наказы». И вижу, что приписные крестьяне боролись не только за то, чтобы улучшить свое положение на внезаводских работах, но выдвигали требования, характерные для них, как сельских тружеников. Они требовали полного освобождения от приписки к заводам, жаловались, что работа на заводах отрывает их от сельского хозяйства, жаловались на малоземелье, на недостаток лошадей, на захват земель заводами и т. д. Таким образом первичные «наказы» дают основание совершенно по-новому воссоздать положение приписных крестьян.

Теперь этими документами пользуются историки.

Так счастливо закончились поиски документов, раскрывающих нам одну из весьма важных страниц в истории Урала.



ВОТ ОНО, КОЛДОВСКОЕ ЦАРСТВО...

Евгений СУВОРОВ

Рисунки Н. Мооса

По утрам, когда все спали, а роса на картофельной ботве, на межах была такая сильная, что дотронуться боязно, Забанка и Мойган, мокрые, по-хозяйски, только немножко пугливо, прошмыгивали в сени и скрывались под лестницей, каждый с мертвой птицей в зубах.

Я просыпался всех раньше и бежал смотреть. Оба кота — и Забанка, и Мойган — были черные. Они всегда встречали меня молча и покорно отдавали самую большую добычу, заранее зная, что мне она не нужна и что я ее скоро верну.

Однажды Мойган с охоты не пришел. Забанка сидел под лестницей, птицу с переломанным крылом не отдал, а еще крепче схватив, сверкнул в темноте зелеными глазами и вылетел из сеней, только хвост, большой, как у лисы, мелькнул над порогом.

Я сразу догадался, что с Мойганом что-то случилось. Но почему так рассердился Забанка?

Я долго ходил по огороду, косил палкой картофельный цвет, весь промок, а Забанки нигде не было.

И до того скучно у нас стало, что бабка сказала:

— И кому помешали... Загрызут теперь мыши.

Дед отбросил недоплетенную корзину, отпихнул ногой лозовые прутья и сердито посмотрел на меня.

— Если, крапивник ты эдакий, не приведишь к вечеру Забанку, выгоню, будешь ночевать за пряслом.

Забанку дед любил больше, чем Мойгана. Забанка никогда ничего не трогал. А Мойган даже в шкаф залезал, под низ. Там он разгибался — гарлачи, крынки опрокидывались, и молоко выливалось. Если Мойгана заставляли на месте, он никогда не убегал, не прятался, а терпеливо ждал наказания. Но его никто не трогал, и он надолго переставал проказничать...

Забанка не приходил. Я не забывал заглянуть утром под лестницу, но там валялись только старые разноцветные перья. Я очень жалел Забанку и Мойгана и не трогал перьев; только ненадолго брал самые разноцветные, водил ими по своим щекам — перья щекотали, и я смеялся. Тогда дверь открывалась, сначала из нее показывалась длинная, похожая на осоку борода, а затем сморщенный замусоленный рукав. Дед подкладывал под дверь чурбак, глаза его в темноте поблескивали так же, как в тот раз у Забанки.

— Ты на что взял? — слышал я в который уже раз. — Положи перо.

Я пожимал плечами, глядел на деда и не боялся. Я знал, что он забудет сейчас про перья и скажет примерно так: «А ну, ответь: к Широкой пади, где лес-медуница, как пойдешь — по солнцу или против солнца?»

Дед уже дважды водил меня на это место. Он говорил, что кроме него да придавленного в прошлом году лесиной старого Тороха никто не знает леса-медуницы. Мы до обеда плутали по кочкарнику, несколько раз переходили по упавшим деревьям речку Инку, шли где-то вдоль Пастуховой горы, проваливались в невидимые мшистые ямки с ледяной водой и наконец оказывались в небольшой лощинке, скрытой непроходимой чащей из рябины, ольхи и словно налитых молоком высоких кустов волчьих ягод. «Не трогай, — заранее говорил дед, — отрава». Он делал еще шага три, протягивал руку, застывал, и мне казалось, что я слышу не дедовы слова, а чей-то голос из-под земли: «Вот оно, колдовское царство...».

Я слышал от деда, что если побывает здесь плохой человек, срубит или сломает дерево, то роса-медуница не придет больше, а лес засохнет. И я осторожнее пригибал к себе ветви...

Мы горевали все лето о пропавших



котах. Бабка говорила, что надо взять нового, но дед тогда начинал кричать:

— Подождем! Мойган, может, и нет, а Забанка — придет.

Не знаю, как он угадал, но только все так и вышло. С Васькой Манаком после дождя мы собирали за мостом дикий лук и увидели: кто-то так и мелькает по Второй дороге, что возле старой дегтярки. «Забанка!» — чуть не закричал я, присел в кочках и погрозил Манаку, чтобы он сидел тише.

Вот они, огороды, а Забанка шел долго-предолго. Мы с Манаком прокрались поближе к избам. Ну так и есть — Забанка! — он свернул по нашей тропинке прямо к бане и быстро пробежал по огороду. Манак и я тоже припустили.

Забанка оглянулся, распушил хвост и в один прыжок очутился в приамбарке. Мы окружили Забанку, я поймал его за гладкую лоснящуюся шерсть. Он стал тяжелее и вроде одичал. Только пустили в избу — он метнулся к окну, потом на середину комнаты, стал подкрадываться к столу. Что такое? На столе, кроме черемши, ничего не было... Забанка схватил пучок и спрятался. Черемшу он не ел, но из-под стола слышалось сердитое урчание.

Дед налил в большую чашку молока. Забанка не подходил. Видно, отвык или боялся. Тогда дед пододвинул чашку поближе. Забанка обнюхивал чашку, фыркал, потом шерсть поднялась на нем дыбом, и он стал пить. Дед уже опорожнил гарлач, а в чашке снова было пусто.

— Старая,— кивнул дед бабке,— подай-ка вон то, утрешнее.

— Куда ему столько,— раскрылись глаза у Манака.

— Не жалею,— суетился дед,— пускай пьет.

Забанка хотел бросить пить, но неохотно лакнул языком раз, другой, внимательно, мне показалось, посмотрел мокрыми глазами на всех нас, а больше на деда, и мы снова услышали как будто редкое пожуркивание ручейка.

Но все равно, когда не зацвел еще багульник и за мостом через всю стлань стояла не высохшая от весны лыва, Забанка ушел.

Каждый год так было. Только к осени возвращался Забанка.

Если он задерживался больше, мы начинали гадать. Одни говорили, что Забанку поймал филин. Манак с бабкой думали, что Забанка остался на зиму в норе барсук или прогнал белку. Дед помалкивал.

Однажды осенью к нам приехала тетя Гаша. Я увидел, как она поставила возле нашего заплота чемодан в голубом чехле, сорвала веточку дикой яблони.

С криком «Тетя Гаша приехала!» я выбежал из избы.

— Тетя Гаша, тетя Гаша,— приплясывал я, ожидая гостинца.

— Медвежо-о-нок, — смеялась она, расставляя руки.— На Филиппихину елку смотрел и рос?! Только меня теперь не Гаша зовут, а Галина.— И тут же в моем кармане очутилась целая горсть леденцов.

Я все время забывал новое Агашино имя, и тогда она переставала смеяться.

Тетя долго говорила о чем-то с дедом и бабкой, посматривала на меня.

— Не отдам,— поначалу сердился дед.— Школа и у нас под боком.

Но потом сдался, бабка поплакала, и



через полчаса я побежал открывать большие ворота.

— Что там — справлюсь, — ворчливо сказал дед.

Мы вместе, дед плечом, а я обеими руками, налегли на осевший правый створ. И всегда мне казалось, что створ этот, когда его открываешь, бороздит землю точь-в-точь, как хромая нога у немого инвалида Гошки.

Дед подвел в поводе мотавшего шеей с белой челкой жеребчика к самому крыльцу, так, что заходить в избу надо было сбоку, сгибаясь под полкой с ведрами.

Вот мы уже посидели перед дорогой, уже в ходке, выехали с тетей из ограды, дед и бабка хотели еще раз подать нам руку, как вдруг я вспомнил, что не простился с Забанкой. Я выскочил из ходка, бегом в избу, звал, манил, все облазил — нет Забанки.

Побежал в приамбарок — тоже нет. И под сараем не было... Наверное, к бане ушел, он сидит там всегда возле черемухового куста и, если и не ловит птиц, то любит подсматривать за ними.

Но Забанка как сквозь землю провалился. Вниз, к бане, уже шли дед с тетей. Я не мог понять, о чем они или спорили или еще что, но дед почему-то все размахивал рукой, тряс узловатым указательным пальцем, а тетя и с недоверием, и с недоумением поглядывала то на деда, то в мою сторону.

Я сидел возле огурцовой гряды и плакал.

Тетя сказала, что из-за какого-то кота она не намерена опаздывать, что у них в городе тоже есть кот и он несколько не хуже, а лучше, потому что никуда не уходит.

До станции ехали мы весь день. Лыска не уставал, и наш ходок дребезжал, подпрыгивал на голых побитых корнях,



старых колеях, и ямках, и нет-нет да обдавало нас с тетей ржавой водой, скрытой густым трилистником и ряской. Показывались из-за колен-поворотов сухие полянки, на которые выбегали и смеялись сыроежки с тоненькими шляпками, синюшки, мухоморы — разнаряженные, с красными щеками, а через них, мне казалось, прыгал и прыгал Забанка...

Запоздалой осенью, когда межи и лес стали бесцветными, а дорога совсем почернела, на рябой от грязи полutorке я добирался в нашу деревню. После города дома ее показались мне маленькими, а дедов — совсем покосился. Ворот, высоких, давно-давно старых, на которых, прибитые гвоздями, держались кружочки, солнце и полумесяцы, уже не было. Их заменил низкий заплотик с ополитированной руками и одеждой верхней жердью. Один приамбарок, кажется, не поддавался ни жаркому лету, ни

жгучим холодам, ни дождям. Крепкие бревна его так же все отливали красноватой медью, дранье было целым, и только лиственничная кора, сберегавшая его, покоробилась, поломалась и кое-где свисала с крыши лохмотьями.

Дед так и не расставался с корзинами и коробами. Он бросил на лавку только что принесенную из леса лозу, заходил то с одной, то с другой стороны, не зная, что со мной делать. Он говорил и говорил и вдруг осекся, вроде бы недовольный: сел в угол к столу и даже глядеть не хочет. Я растерялся. Выручила бабка.

— Ты про Забанку спроси...

Мне уже двадцать три. Смешным показалось спрашивать про Забанку, да и нет его, наверное, давно. Но дед мог обидеться, и я послушался бабку.

— А что, дед, Забанка наш тогда и не вернулся?

Дед качнул сухим плечом, недоверчиво скосился, взгляд его потеплел.

— Забанка... Не будет больше...

Один Забанка... Э-э, браток, мало ли вот котов, а он не такой. Обойди всю сторону — и не будет, нет, не найдешь.

Что-то еще, другое, мучило деда, но он молчал, хотя затаившуюся в глазах горечь скрыть не мог. Посидел-посидел, повернул ко мне голову и спросил:

— Лес-медуницу помнишь?

— Ага.

— Ну-ну...

— А ходим, дед, в этот лес?

Дед расчесал бороду и будто самому себе сказал:

— Дойдет солнце — от жары деться негде. В самый раз идти.

В лесу дед показывал — где какое дерево молния сбила, а какое срублено.

— Э-э, мал был, не упомянешь: вот же, рядом, голубицу с тобой брали. А переход не знаешь? Брусница там была-а... по-над берегом. А найди! Который год уже будто пал прошел. А бывало, и пал пройдет, а смороду, да хоть что — пригоршнями гребли...

Прежде мы с дедом продирались по осиннику, что за Шкуратовым покосом. Тогда как было: нет-нет да оставишь где-нибудь шапку или штанину располосуешь... А тут мы шли, уже Инка показалась за деревьями, а дорогу нам только раз перегородила согнутая над тропинкой береза. Даже над самой Инкой белела длинная поленница дров.

Дед сердито мотнул рукой.

— Герасименок, лесу ему не хватило... Коршук, и только! До заимки руби — не вырубешь, так сюда залез, волчьи глаза. Тут тебе и ягоды, и медуница, и все... А это что: столько прута срезано и брошено, столько охапок лежит с позатого лета, коню не увезти. Ну, на что ему?!

Дед больше не мог говорить и молчал и, лишь спотыкаясь о коряги да свежие пеньки, готов был плюнуть, но только и мог, что обзывал кого-то коршуками и вороньем.

Вот и лес-медуница.

Дед остановился возле поломанного изъезженного кустарника. Смородину здесь уже давно не собирали, только у самой земли еще можно было отыскать придавленные рясные гроздья волчьих ягод, немного рябины да морошку. Дед растерянно поглядел на меня, опустил на сгнившую колодину и сорванным голосом, почти шепотом выговорил:

— Иди-иди. Смотри, я не пойду.

От колдовского дедова царства ничего не осталось: кто-то, видно, еще давно вырубил молодой лес на частокол и жерди; кому-то понадобились и деревья потолще — и половина из них была подрублена. Росы-медуницы нигде не было...

Я вернулся к деду, сел на колодину. Дед встрепенулся, подсел поближе, взял меня за полу пиджака и быстро-быстро заговорил:

— Порубят тайгу. И медуницу — под корень. А не знаешь — Забанка тут ходит... Только раз видел — годов пять тому будет: молоньей залетел на ту вон лесину. И чего это такое: в доме мирный, а в лесе — дичает?.. Видать, не знаешь, — инженер к нам, хлюст раскакой-то, едет и ораву с собой волочет. Постройка большая затевается... Камень бы вроде нашли. А по мне, век бы его не было. И что вытворяют: до Мильгитуй порубку... А такого красавца-строевика и к Загорью не будет. Лес-то новый, не вошел в силу. Вырубят — и помру, — тихо закончил дед. — А инженера-прихвостня... в болоте... Вот те крест, не забуюсь. Натерпелся коршуков, хоть одного...

Дед отодвинулся. Мы сидели молча, он глядел в одну сторону, я в другую. Старик не знал, что я тот самый инженер, которого он собрался топить в 71

клюквенном болоте.

ДО БАРНАРДА БЫЛ... ДОУЭЛЬ

«Даже если умрет последний пациент Барнарда — значение этой операции огромно. Дан толчок науке. Зажглась новая надежда для многих больных...»

Вы, конечно, догадываетесь, о чем идет речь? Сенсационные сообщения об эксперименте доктора Барнарда

обошли в конце прошлого года всю мировую прессу. Ученые оживленно комментировали на страницах газет дерзкую попытку хирурга из Кейптауна пересадить неизлечимо больному человеку чужое сердце. Читатели с волнением ждали новых сообщений. Успех? Или опять — горькая неудача?..

В те дни мне невольно приходили на ум прочитанные когда-то строки:

«Голова внимательно и скорбно смотрела на Лоран, мигая веками. Не могло быть сомнения: голова жила, отделенная от тела, самостоятельной и сознательной жизнью...»

В волнующую, неправдоподобно волшебную историю уводили эти строчки — в историю, где была тайна, было преступление, была борьба простых и честных людей за торжество правды, за разоблачение жестокого преступника. Было все, что так завораживает нас в детстве...

И вот — эта статья в февральском номере «Литературной газеты» за нынешний год.

«Еще не улеглись страсти с пересадкой сердца, а уже говорят об изолированном мозге...»

Нет, не следует думать, что проблема изолированной головы может быть решена в течение нескольких месяцев. Нужна очень большая работа, но мне не представляется это более трудным, чем анабиоз или преодоление индивидуальной несовместимости тканей...»

Известный советский хирург Н. М. Амосов — член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, лауреат Ленинской премии — детально обосновывал в этой статье все «за» и «против» огромной, не могущей не взволновать каждого человека научной проблемы... Мог ли я не вспомнить снова об Александре Беляеве?

Мне захотелось перечитать его книгу об удивительной жизни головы, отделенной от тела. А перевернув последнюю страницу этого увлекательного романа, так же неудержимо захотелось познакомиться с самим фантастом. И вот теперь я просто не могу не поделиться всем, что испытал во время этого знакомства...

не самого знаменитого ныне его романа. А в 1941 году — перед самой войной — в издательстве «Советский писатель» вышла последняя при жизни писателя книга — роман «Ариэль».

Между этими двумя датами уместилось шестнадцать лет. Шестнадцать лет поисков, надежд, разочарований. Больших творческих удач. Горьких (потому что вынужденных) перерывов в работе. Шестнадцать лет — и десятки рассказов, повести, пьесы, сценарии, наконец, семнадцать романов!..

В предвоенной советской литературе я не нашел больше примеров такой удивительной верности научной фантастике.

Кто же он — Александр Беляев? Каким путем пришел он в литературу, где покамест, очень четко отграничившись один от другого, безраздельно властвовали Жюль Верн и Герберт Уэллс? И какая сила помогла ему не только выдержать мелочную, часто незаслуженную придирчивость современников — не читателей, нет, критиков! — но и утвердить в заповедной Стране Фантазии свой, истинно беляевский, неповторимо разнообразный уголок: монстров доктора Сальватора, мужественного мыслителя Доуэля, жизнерадостного Тонио Престо и изобретательного Вагнера, парящего в небе Ариэля и восторженно трубящего на спине дельфина в свой рог Ихтиандра?..

К моменту появления первого рассказа фантасту было уже сорок лет.

Семь лет под строгим надзором духовных отцов, — Беляев-старший, сам будучи священником, и сыну своему прочил духовную карьеру. А порядки в смоленской семинарии были действительно суровые: без «особых письменных разрешений ректора» семинаристам запрещалось даже чтение газет и журналов в библиотеках!

Безудержное увлечение театром. «Если вы решитесь посвятить себя искусству, я вижу, что вы делаете это с большим успехом», — это замечание К. С. Станиславского, право же, имело под собой почву. «Г-н Беляев был недурен... г-н Беляев выдавался из среды играющих по тонкому исполнению своей роли...» — так оценивала местная газета роли, сыгранные Беляевым в театре смоленского Народного дома. «Г-ну Беляеву» в те дни шел восемнадцатый год...

Демидовский юридический лицей в Ярославле, и снова — Смоленск. Теперь «г-н Беляев» выступает в роли помощника присяжного поверенного. И одновременно — подрабатывает в газете театральными рецензиями.

Но вот скоплены деньги — и преуспевающий молодой юрист отправляется в заграничное путешествие. Венеция, Рим, Марсель, Тулон, Париж... В Россию Беляев возвращается с массой ярких впечатлений и мечтою о новых путешествиях: в Америку, в Японию, в Африку. Он еще

не знает, что путешествовать ему больше не придется. Разве что — переезжать с места на место в поисках целительного сухого воздуха...

В 1915 году Беляев заболевает. Туберкулез позвоночника. «Обречен...» — считают врачи, друзья, близкие. Мать увозит его в Ялту. Постельный режим, с 1917 года — в гипсе.

В 1919 году умирает его мать, и Александр Романович, тяжело больной, не может даже проводить ее на кладбище...

В 1921-м Беляев все-таки встает на ноги. Работает в уголовном розыске, в детском доме, позднее, в Москве, — в Наркомпочтеле, юриконсульт в Наркомпросе. Вечерами пишет, пробует силы в литературе, — и вот в 1925 году, в третьем номере только-только возникшего «Всемирного следопыта» появляется неведомый дотоле фантаст — «А. Беляев».

А болезнь не ушла, побеждена она лишь временно и еще часто будет возвращаться к фантасту, на долгие месяцы приковывая его к постели...

Но не только муки чисто физические докучали ему.

Советская литература делала свои первые шаги, и не все было гладко на ее пути. В литературной критике, в частности, господствовала резкая субъективность суждений. Нашлись люди, в корне отрицавшие фантастику. «Бессмысленные мечтания» видели они в ней, «пустое развлекательство» — и только. Ненаучную, вредную, реакционную маниловщину.

Те же, кто все-таки признавал за фантастикой право на существование, — слишком крепко привязывали ее к «сегодняшнему дню». Безобидной была поначалу формула, гласившая, что «советская фантастика — изображение возможного

будущего, обоснованного настоящим». Но у критиков эта формула превратилась во всемогущее заклинание, с помощью которого мечте подрезались крылья и горизонты ее ограничивались ближайшими пятью-десятью годами.

«Фантастика должна только развивать фактические достижения науки», — писал в журнале «Сибирские огни» критик А. Михалковский. Подобные заявления ничего, кроме вреда, не принесли советской фантастике.

Я добросовестнейшим образом пролистал множество комплектов газет и журнальных подшивок двадцатых-тридцатых годов. И — почти не обнаружил статей, проникнутых хоть малой долей симпатии к А. Р. Беляеву — единственному, повторяю, писателю в предвоенной нашей литературе, целиком посвятившему себя разработке трудно о жанра.

Критики были на редкость единодушны.

«Шила в мешке не утаишь, и в каком бы «взрослом» издательстве ни вышел новый роман А. Беляева, он прежде всего попадет в руки детей», — с откровенным беспокойством начинает критик М. Мейерович рецензию на «Человека, нашедшего свое лицо». И естественно: отказывает этому роману даже... в «минимуме убедительности».

Другой критик, А. Ивич, рецензию на этот же роман заканчивает снисходительным похлопыванием по плечу: мол, у него (это — у 56-летнего большого писателя, автора уже шестнадцати романов!) лучшие произведения — «впереди»...

Даже и сейчас, почти три десятилетия спустя, становится до боли обидно за писателя, к подвижническому труду которого с таким равнодушием — больше того: с непониманием! — отнеслась критика при его жизни. Становится осо-

АЗЪ ВУКИ ВЪДИ

На свете существует свыше трех тысяч языков, и все они устроены по-разному. Если каждый обозначить своим особым цветом, то получился бы громадный пестрый ковер, в котором цвета плавно переходили один в другой: резких границ между языками нет ни в словарном запасе, ни в грамматическом устройстве.

В науке существует много мнений о том, на сколько типов делятся языки мира. Од-

¹ См. «Уральский следопыт» №№ 1—7.

ЦВЕТАСТОЕ МНОГОГОЛОСЬЕ

ни ученые насчитывают три, другие — четыре, третьи — свыше двадцати, четвертые — около ста, в зависимости от того, какие признаки (и сколько) берутся за основу сравнения. Наиболее часто встречается деление языков на четыре группы: языки корневые, агглютинирующие (склеивающие), флективные (сгибающие) и полисинтетические (многосоставные).

Что такое корневые языки? Это те, в которых слова как бы равны корню, не имеют ни приставок, ни суффиксов, ни окончаний. Они не склоняются и не спрягаются, не имеют морфологии. Примером такого типа языков может служить китайский. Слова в нем односложны: *шань* — гора, *хэ* — река, *жень* — человек, *го* — государство, *да* — большой.

Поставьте рядом несколько таких слов-корней — получится предложение. Но ставить их нужно не как попало, а в определенном порядке: сначала идет подлежащее, затем — сказуемое, потом — дополнение и так далее. Например: *во хао жень* — я люблю человека. Если поменяем местами подлежащее и дополнение, изменится смысл предложения: *жень хао во* — человек любит меня. В языках, подобных китайскому, нет разделения на части речи. Одно и то же слово может быть и существительным, и глаголом, и прилагательным, и наречием. Все зависит от его сочетания с другими словами: *хао жень* — хороший человек (здесь *хао* прилагательное «хороший»); *сию хао* — делать добро (*хао* — существительное добро); *хао*

бо ощутимой та горечь, с которой он, по воспоминаниям близких ему людей, «чувствовал себя забытым писателем, забытым коллегами, непонятым критиками». Становится, наконец, просто страшно, когда узнаешь, что пожилой, скованный гуттаперчевым ортопедическим корсетом, человек этот в 1932 г. поехал работать в Мурманск — плавать на рыболовном траулере. Не потому, что требовалось пополнить запас жизненных впечатлений. Нет. Просто: зарабатывать на хлеб...

Но в одном критик предпоследней книги фантаста оказался прав: впереди у Беляева был «Ариэль» — действительно превосходный роман!

Эта книга — восторженный гимн человеку. Вся свою тоску и боль, всю свою жажду жизни вложил писатель в роман о юноше Ариэле, взлетевшем навстречу солнцу, свету, счастью — без крыльев, без каких бы то ни было миниатюрных моторчиков, «без ничего!» «Просто»: управляя движением молекул собственного тела...

Теперь уже не услышишь, чтобы кто-то, рассуждая об Икhtiандре, оговаривался: «реальное решение задачи даст, несомненно, не медицина, а техника; не люди-амфибии, а люди, вооруженные аппаратами для подводных спусков и плаваний, освоят неизведанные глубины». Так, может быть, и говоря об Ариэле, мы со временем перестанем подменять великолепную беляевскую мечту о свободном парении в воздухе — стыдливой оговоркой о том, что, вот, «может быть, удастся снабдить человека столь совершенными крыльями, что он с их помощью овладеет искусством свободного полета...»?! Ведь мечта-то была — не о крыльях, даже и самых-самых новейших, а именно о полете «без ничего»?!

Большой это дар — видеть «то, что временем сокрыто». Александр Беляев в совершенстве владел этим даром. И он не растерял его, не рас-

тратил на полпути: сберечь этот редкий дар помогла ему безграничная читательская любовь к его книгам.

Критики в один голос обвиняли «Человека-амфибию» в художественной несостоятельности. А роман этот, опубликованный в 1928 году журналом «Вокруг света», в читательской анкете был признан лучшим произведением за пять лет работы журнала... В том же 1928 году он вышел отдельной книгой. И тут же был дважды переиздан, — настолько велик был спрос на эту книгу!

В печатных выступлениях доказывалась ненаучность «Головы профессора Доуэля». А юная читательница из Курска писала — пусть наивно, но очень искренне: «Прочитав такой роман, я сама решила учиться на врача, чтобы делать открытия, которых не знают профессора мира...»

Книги Беляева, подлинного следопыта-фантаста, будили интерес к науке, рисовали заманчивые перспективы, заражали всепоглощающей жаждой познания. И вот это-то их качество и находило живейший отклик в сердцах читателей.

Впрочем, почему — «находило»?

Только за последние годы (и только на русском языке) они изданы более чем в пяти миллионах экземплярах. И все-таки их... не хватает. Они и сегодня — дефицит.

В. БУГРОВ

ЧИТАЙТЕ О БЕЛЯЕВЕ:

О. Орлов, «А. Р. Беляев». Биографич. очерк.— А. Беляев, Собрание сочинений, т. 8, Изд-во «Молодая гвардия», М., 1964, стр. 497—516.

Б. Ляпунов. «Александр Беляев». Критико-биографич. очерк. Изд-во «Советский писатель», М., 1967. 159 стр.

дагвих — очень дорогой (хао — наречие очень); жень хао во — человек любит меня (хао — глагол любит).

Еще пример: лао-лао, яо-яо, что значит «обращаться со стариками как со стариками, с детьми как с детьми», первое лао (и яо) — существительное, второе лао (и яо) — глагол («обращаться как...»). Получается дословно: «стариков старичить, детей детить».

Второй тип языков — агглютинирующие (в переводе с латинского агглютинацио значит склеивание, приклеивание). Довольно странное название, не правда ли? Что с чем склеивается в них? Чем они отличаются от корневых? Начнем с последнего.

Агглютинирующие языки отличаются от корневых тем, что имеют суффиксы, окончания и другие морфологические элементы, которых нет в корневых. Примером может служить турецкий язык. Рассмот-

рим и сравним множественное число существительных в нем и в русском:

Турецкий:

эв — эвлер
ага — агалар
ата — аталар
китаб — китаблар

Русский:

дом — дома
господин — господа
отец — отцы
книга — книги



Из сравнения видно, что в турецком языке для образования множественного числа употребляется лишь один суффикс лар (или лер, в зависимости от того, какой гласный стоит в корне). В русском же языке мы видим разные окончания: а, ы, и и другие. Итак, в турецком один суффикс, в русском несколько. В том случае, когда суффикс только один, он легко замечается и отделяется от корня, как стандартная деталь. Ее легко прилепить к корню, легко и отлепить от него. Поэтому и названы такие языки, как турецкий, прилипающими. К их числу относятся также татарский, башкирский, казахский, туркменский, удмуртский, марийский, карельский, эстонский, финский, венгерский и великое множество других. Некоторые ученые считают, что агглютинирующие языки самые распространенные на свете, так как построены очень ясно и

ЛОГОВО ЛЕШЕГО

О «логове лешего» я впервые услышал на приiske Косья, что недалеко от горы Качканар. Тетка Лукерья рассказывала, как в детстве в Петров день она с подружками пошла в лес за ягодами. В полдень неожиданно потемнело небо, тучи скрыли солнце, и в лесу наступили сумерки. Луша перепугалась, пошла наугад и забрела в густой черный ельник. Протираясь сквозь него, Луша вышла на небольшой бугорок, посередине которого стояла высокая ель, увешанная черепами...

Потом такие же рассказы я слышал и на северном Урале. Рассказчики по-разному описывали свои переживания, но все, словно сговорившись, одинаково описывали «логово лешего».

Долгое время елки с черепами были для меня загадкой. И только недавно, побывав на Кваркуше, я, кажется, нашел разгадку тайны «логова лешего».

Весной во время наста бывают случаи, когда

росомаха с дерева прыгает даже на выбившегося из сил лося и перегрызает ему сонную артерию. Голову лося росомаха обычно затаскивает высоко на дерево. Точно также поступает она и с головами оленей и диких коз. Мы у подножия Кваркуша случайно наткнулись на дерево, где хранились запасы хищника. Место было примерно таким, как его описывала тетка Лукерья. Увидев на дереве головы с рогами, Луша опрометью бросилась наутек, а все остальное, что касается самого «логова лешего», — плод фантазии. Я убедился, что легенды о «логове лешего» ходят в основном там, где водятся олени и дикие козы, а следовательно, и росомахи. В те годы, когда тетка Лукерья была еще девчонкой, на Качканаре водились и дикие козы, и олени. Правда, не совсем понятно, почему росомаха для своих «складов» выбирает одинокие и высокие ели...

А. МАЛЬЦЕВ

экономно. В турецком, например, корень никогда не меняется (сравните: мою, но мыл; пою, но пел; возьму, но взял; собрал, но сбор). Во-вторых, перед корнем в турецком не бывает никаких приставок, он всегда стоит на первом месте (сравните: строить, но застроить, построить; петь, но спеть, запеть). Если суффиксов в слове несколько, они соблюдают порядок: сначала к корню присоединяются суффиксы с очень широким значением, затем — все с более и более узким, уточняющим. Например, **язамайорсунуз** (потурецки значит «теперь вы не можете писать») состоит из корня **яз** — писать, суффикса с широким значением **ама** — не мочь, уточняющего суффикса **йор**, показывающего, что действие происходит сейчас, теперь, в настоящее время, и, наконец, из еще более уточняющего суффикса **сунуз**, указывающего на лицо (вы). Схема

этого слова: писать — не мочь — теперь — вы. В целом оно напоминает наконецник копыя, суживающийся и заостряющийся к концу.

В прошлом веке известный языковед Август Шлейхер сравнивал корневые языки с кристаллами неизменной формы (скажем, кристалл поваренной соли или алмаз, к ко-



торым ничего нельзя прибавить и от которых ничего нельзя отнять), а языки агглютинирующие — с растениями, у которых ясно выделяются корень, стебель, листья, цветы.

Совсем иной характер у языков флективных, имеющих флексию. Это слово в переводе с латинского значит **излом, изгиб** (от глагола флектере — сгибать). Что же в них «ломается». «Изгибается»? Корень. Примерами таких языков служат славянские, а также немецкий, французский, индийский, иранский, греческий, армянский и другие индоевропейские. Кроме того, к ним относятся семитские: арабский, древнееврейский, финикийский и некоторые другие, преимущественно древние. В них флексия получила наибольшее развитие. Но об этом в следующем номере.

В. ЖИТНИКОВ.



Валентин ЗОРИН

Рисунки Н. Мооса

Рассказ

Остались позади рыжие склоны с искореженными соснами над причалами Корсакова. Отвесные скалы мыса Крильон. Вулкан Менделеева на Кунашире, заросшие бамбуком сопки Шикотана... «Туркмения» наконец ошвартовалась у бревенчатого пирса, почерневшего от морской воды, дождей и туманов.

Глухо стукнули сходни, и на берег повалили бородатые парни в беретках, степенные дядьки в кепках и фуфайках, голосистые девчата с чемоданами, сумками и просто авоськами — сезонники, приехавшие на промыслы. Забрякала гитара, простуженный тенорок затянул популярную в этих местах песенку о том, что «Сахалин почти что Сочи...» Тут же дружинники шерстили чей-то баул, и вот припасенная его хозяином бутылка со спиртом отчаянно хрустнула о прибрежный камень: действовал неизменный в путину «сухой закон».

Полукруглая бухта казалась зеркалом, в котором отражались мачты, облака и полоса дыма из трубы жиротопенного цеха. От складов рыбокомбината тянуло душноватым запахом. Гулко тархтел движок. Пожилой здоровяк усел-

ся над берегом с удочкой, закурил, приняв безмятежную позу, — словно и не на краю света он был, а где-нибудь, скажем, на Клязьме...

Было то редкое для сезона промежуточное время, когда очередной поток продукции уже обработан, а траулеры еще на подходе.

Здесь, у слипов — конвейеров для приема и разделки китовых туш, я и встретился со своим бывшим одноклассником — Вовкой Лазенковым.

Двадцать лет — срок немалый. Вовка стал кряжистым, хриплоголосым, легкая седина пробилась в коротко стриженных волосах. Удивительно ловко сидела на нем клеенчатая роба, и такой силой, таким здоровьем веяло от всей его крепкой квадратной фигуры, что я не удержался:

— Слушай, старик! Ты здорово выглядишь!

— Море, — коротко сказал он.

— Видать, так. Честное слово, ни за что не подумал бы... Помнишь? Ты же слабее всех в классе был, вечно то грипп, то эта... свинка, что ли?

Он расхохотался, задрав крепкий подбородок и показав дубленную ветром

и морем шею. Потом посерьезнел, положил тяжелую руку мне на плечо.

— Двадцать лет...

— Ага, двадцать...

— А Трофима Сергеевича помнишь?

— «Дятла»?.. Но он-то при чем тут?

И тогда Вовка полез в нагрудный карман и торжественно протянул мне что-то матово-желтое, похожее на маленький рог. Я прикоснулся пальцами к гладкой, прохладной поверхности.

— Похоже, зуб...

— Зуб кашалота.

— Угу... Кашалоты — это же зубатые киты? Местная достопримечательность?

— Да. От времени эта кость становится словно шлифованной. А ты помнишь?..

Это было в сорок третьем, в снежном захолустном городке, в пору хлебных карточек, очередей, зачитанных до дыр газет и надежд на лучшее. Декабрьские метели хлестали в окна нашего класса. На подоконниках копился снег, он неохотно таял в надышанном тепле, тонкими грязными струйками стекал на пол. Мы зябко прятали руки в карманы пальтишек, из которых давно выросли. Начинались новогодние каникулы, но мало радости ожидало нас.

И потому совершеннейшей нелепицей, нереальностью казался рассказ нового нашего географа Трофима Сергеевича о жарких странах, об изобилии тропических плодов в джунглях, о косых парусах среди коралловых лагун. Узкоплечий, седой и остроносый, учитель и впрямь походил на дятла. В общем-то он был неплохим учителем — спрашивал строго, но в учительской и директору не ябедничал...

Когда в окна хлестнул особенно сильный порыв ветра со снегом, Вовка Лазенков не выдержал:

— Чепуха все это! — громко сказал он. — Не хочу и знать никаких дальних стран! Может, их и нет вовсе? Вон, у Витьки отец погиб. И нам похоронка пришла на той неделе. Братан... У Семкиной матери карточки вытащили... И холодно! А вы — прерии, саванны...

Мы ждали бури. Мы замолкли и склонились над партами. А Вовка, бледный до синевы, самоотверженно готовый к наказанию, медленно поднялся. И мне было хорошо видно, как за Вовкиным ухом на тонкой шее бьется синяя жилка.

Трофим Сергеевич молча прошел по классу, вернулся к столу и медленно обвел всех нас внимательным взглядом.

— Знаете что, ребята? Давайте после уроков ко мне? Ладно?

Плохо, тесно жил наш учитель, снимал комнату в старом доме на самой окраине. В темноте сеней кто-то налетел на рукомойник, кто-то запутался ногами в половичке. А потом мы по одному вошли в тесную комнатушку и ахнули: она была похожа на сокровищницу из сказки.

С многочисленных полок, сделанных из неструганных досок, сияли гранями друзья уральских кристаллов. Чеканные кумганы отражали язычок семилинейной лампы и рождали мысли о зное пустынь, о прохладных каплях благодатной влаги, о медленном шествии верблюжьих караванов. Высушенные морские звезды бурели, как фантастические цветы таинственных океанов. Малайский крик поблескивал волнистым лезвием. Туманно улыбались маски каких-то божков, тускло сияли раковины неведомых нам моллюсков. И над всем этим великолепием белела парусами модель фрегата...

Потом мы сидели, прижавшись друг к другу, в страшной тесноте, которой уже не замечали. Заваренный шиповником кипятком пили так, словно в кружках у нас был волшебный напиток. И, затаив дыхание, слушали слова учителя о высоком счастье познавать неведомое.

— Люди проходят сквозь войны и голод, побеждают и гибнут. Но мечта бессмертна. Каждый обязан достичь своего рубежа. И чем этот рубеж труднее и дальше, тем человек счастливее. Будьте верными мечте, несмотря ни на что!

— Трофим Сергеевич, — робко спросил Вовка, — вот эти острова и страны... Здорово ведь увидеть их своими глазами?

Вовку одернули — и без этого дурацкого вопроса было ясно, что к чему. А Трофим Сергеевич ничего не ответил и долго молча протирал очки.

Когда мы возвращались домой, холод не казался нам таким пронизывающим, а пайковый хлеб дома — таким остистым и сырым. И будущее рисовалось нам в золотистых рассветных тонах. И мы мечтали о нем так, словно до него было — рукой подать...

Вскоре с легкой руки моих одноклассников пошла среди ребят слухи о том, что Трофим Сергеевич — вроде Миклу-

хи-Маклая, а кое в чем и похлеще его. Ведь в Средней Азии и на Урале Миклуха-Маклай явно не бывал. О том, что теперь мы знали географию назубок, говорить не приходится. Но самое главное — среди ребятни появился новый светлый ток: говорили не о трудностях, а о выборе будущей профессии...

— Вот и все, — сказал Вовка. — С того вечера он заботился обо мне, ну, как родной, что ли... Сколько было рассказов, книг! Он ухитрялся добывать для меня молоко. Представляешь? Молоко! Он учил меня закаляться... И я поверил в то, что смогу стать по-настоящему сильным, смелым... И я приехал сюда. Да-а, старик не даром столько повидал за свою жизнь! Как мне было поначалу — что говорить, сам понимаешь...



— Этот зуб кашалота... Я помню, у Трофима Сергеевича был такой же.

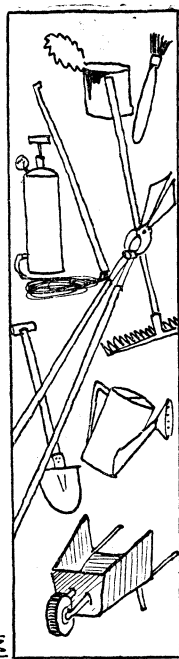
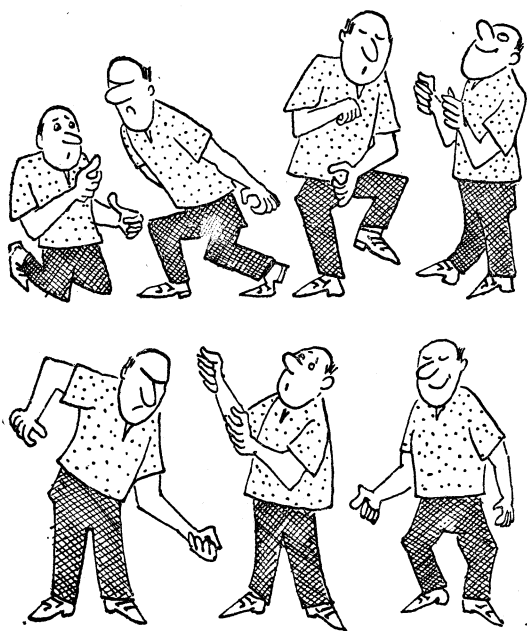
— Нет, этот я добыл сам. С год мне довелось походить на промысловике.

Я смотрел на зуб морского зверя — матово-желтый, похожий на маленький рог, с коническим углублением внутри. И, зная немного Вовку, представлял себе ту школу, которую он прошел, чтобы стать вровень с людьми, способными выйти один на один с природой, со стихией. В какой-то очень короткий миг я увидел парнишку, стоящего на скользкой палубе сейнера, волну, которая обдала его с ног до головы; увидел кровавые мозоли от жестких манильских тросов на ладонях парнишки; потом промелькнуло видение далекого острова, барачков, туманных, сырых рассветов, диких штормов и зимних буранов...

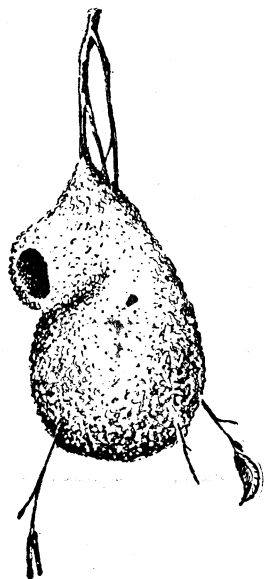
Я столько хотел сказать Вовке!.. Но я молчал, раз за разом глубоко затягивался сигаретой. Нет, не стоило говорить Вовке сейчас о том, что я узнал всего пять-шесть лет назад. Наш Трофим Сергеевич, наш «Дятел»... Он нигде не был, кроме далекой сельской школы и нашего городка. А все диковины были подарены ему его воспитанниками...

Из туманной дали уже выныривали мачты сейнеров и рефрижераторов. Уже медленно вращались, бежали в свой бесконечный путь брезентовые ленты транспортеров на берегу. И приемщики рыбы в своих негнущихся робах спускались на плашкоут. Короткая передышка кончилась.

СМЕКАЙ — КА!



Попробуйте определить, какими инструментами на каждом рисунке пользуется этот садовод.



Что это гнездо?

Рисунки-загадки В. СЕМЕНОВА и А. БОЙЧЕНКО



Как вы думаете, сколько одинаковых лиц на этих двух рисунках?

ОТВЕТ НА РИСУНОК-ЗАГАДКУ В № 7

Рисунки вазы принадлежат следующим художникам: 1—А, 2—В (начал рисовать тупым карандашом); 3—Д (не разглядел мелких точек орнамента); 4—Г (крупное пятно на вазе рисовал с краю); 5—Б (автор этого рисунка явно неряха); 6—Е (этот художник не мог разглядеть всей вазы из-за головы впереди сидящего коллеги).



УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ

В 1969 ГОДУ

«Сверкнул луч фонаря, и часовой, увидев Адамчика и офицера, услужливо сказал:

— Проходите!

В длинном коридоре тускло горела керосиновая лампа, в пирамидах стояли винтовки и автоматы.

Услышав шаги, из боковой комнаты выбежал заместитель начальника полиции. На ходу поправил кобуру, выпрямился, пристукнув каблуками, представился:

— Старший полицейский Бабенко! Чем могу быть полезен, господин лейтенант!

— Почему около станции не выставлена застава! — сердито спросил Барс.

— Одну минуточку, господин лейтенант, я вызову переводчика.

К ним подошел старичок. Барс повторил вопрос.

— Заставы, господин лейтенант, у нас выставлены на берегу реки и на западной окраине, — пояснил Бабенко. — Действуем согласно инструкции командира отряда СС.

В кабинете Барс просмотрел списки полицейских, поинтересовался несением службы.

— Переведите Бабенко, — обратился он к старику, — чтобы выделили пятнадцать полицейских. Они будут сопровождать меня до местечка Кореличи.

...Еще в лагере мы договорились с Барсом, что обратно он будет возвращаться в условленное время. Если с полицейскими или эсэсовцами, то по дороге Любча — Кореличи, если же один, то старой дорогой, по берегу реки...»

Это отрывок из документальной приключенческой повести о разведчиках Ивана Колоса. Автор рассказывает в ней о событиях времен Великой Отечественной войны. Сам в прошлом разведчик, И. А. Колос неоднократно выполнял ответственные задания командования.

Повесть Ивана Колоса будет публиковаться в последних номерах этого и первых номерах будущего года.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЭТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

А. Борисова, О. Мухина, А. Соловьев, Г. Кацерик. Стихи 30

ВОВКА, ДЯДЯ ИВАН И НОЧКА

А Филиппович. Рассказ 41

ВОТ ОНО, КОЛДОВСКОЕ ЦАРСТВО...

Е. Суворов. Рассказ 67

ЗУБ КАШАЛОТА

В. Зорин. Рассказ 76

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ

ПАМЯТЬ МОЯ — СОЛДАТЫ...

В. Стариков. Фронтные записки 1

ТОВАРИЩ ТЕОДОРА НЕТТЕ

А. Любарский. Очерк 32

КРАЕВЕДЕНИЕ

УРАЛЬЦЫ В АКАДЕМИИ

А. Коровин 40

ПОЯСА ИЗ ПАРМЫ

Г. Климова 65

СЛЕДОПЫТСКИЕ ДЕЛА

ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ВОЖДЮ

А. Токмаков 8

«КОСМОС БЫЛ ЕГО ЖИЗНЬЮ»

А. Артамонов 14

ЗА БАЛХАШСКИМИ СОКРОВИЩАМИ

На приз нашего журнала 25

ДАЕМ АДРЕСА РОМАТИКАМ

ГАЛАКТИКА «А — Е».

Ж. Кацер 37

РА-ИЗ ШЛЕТ ПРИВЕТ

Е. Ананьев 57

ДОРОГАМИ ПОИСКА

ТЕРРА ИНКОГНИТА

Т. Ефимова. Очерк 60

В ПОИСКАХ «НАКАЗОВ»

М. Мартынов 66

ЦВЕТАСТОЕ МНОГОГОЛОСЬЕ

В. Житников 73

МОЙ ДРУГ — ФАНТАСТИКА

ДО БАРНАРДА БЫЛ... ДОУЭЛЬ

В. Бугров 72

ОБЛОЖКА В. ВОЛОВИЧА И С. КИПРИНА

РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Технический редактор

Э. Максимова

Адрес редакции: Свердловск, ГСП-353, ул. Малышева, 36, комн. 79 и 87. Телефон Д 1-22-40.

Средне-Уральское Книжное Издательство.

Корректор

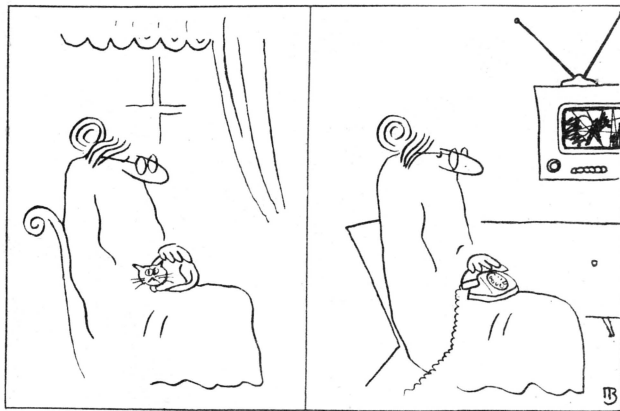
В. Бурангулова

Подписано к печати 18/VII 1968 г. Бумага 84×108/16=2,62 бум. л.—8,82 печ. л. Уч.-изд. л. 9,88.
НС 13148. Тираж 115 000. Цена 30 коп. Заказ 325.

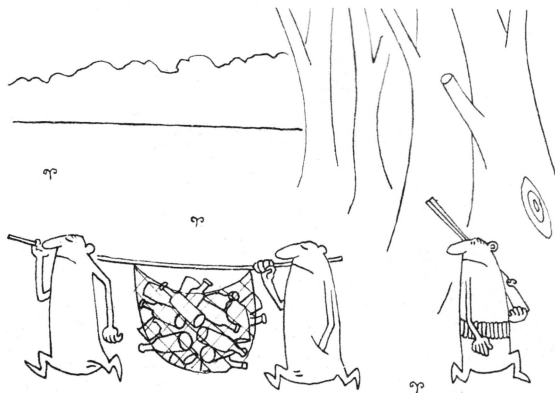
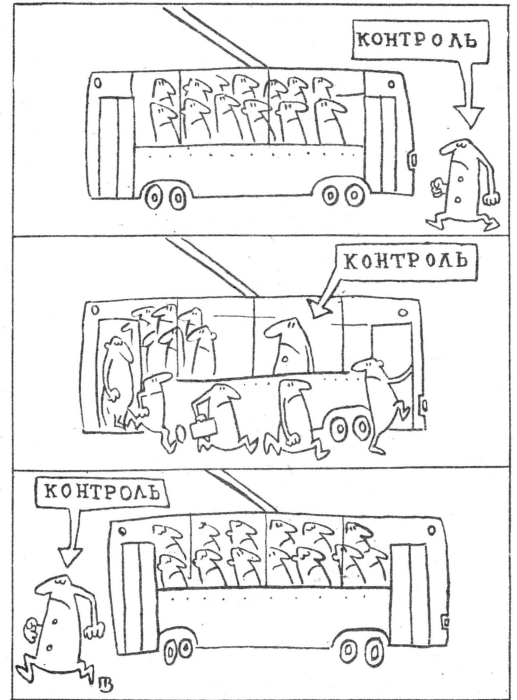
Типография издательства «Уральский рабочий». Свердловск, проспект Ленина, 49
Обложка и вклейка отпечатаны на Свердловской фабрике офсетной печати.



Кто ?!



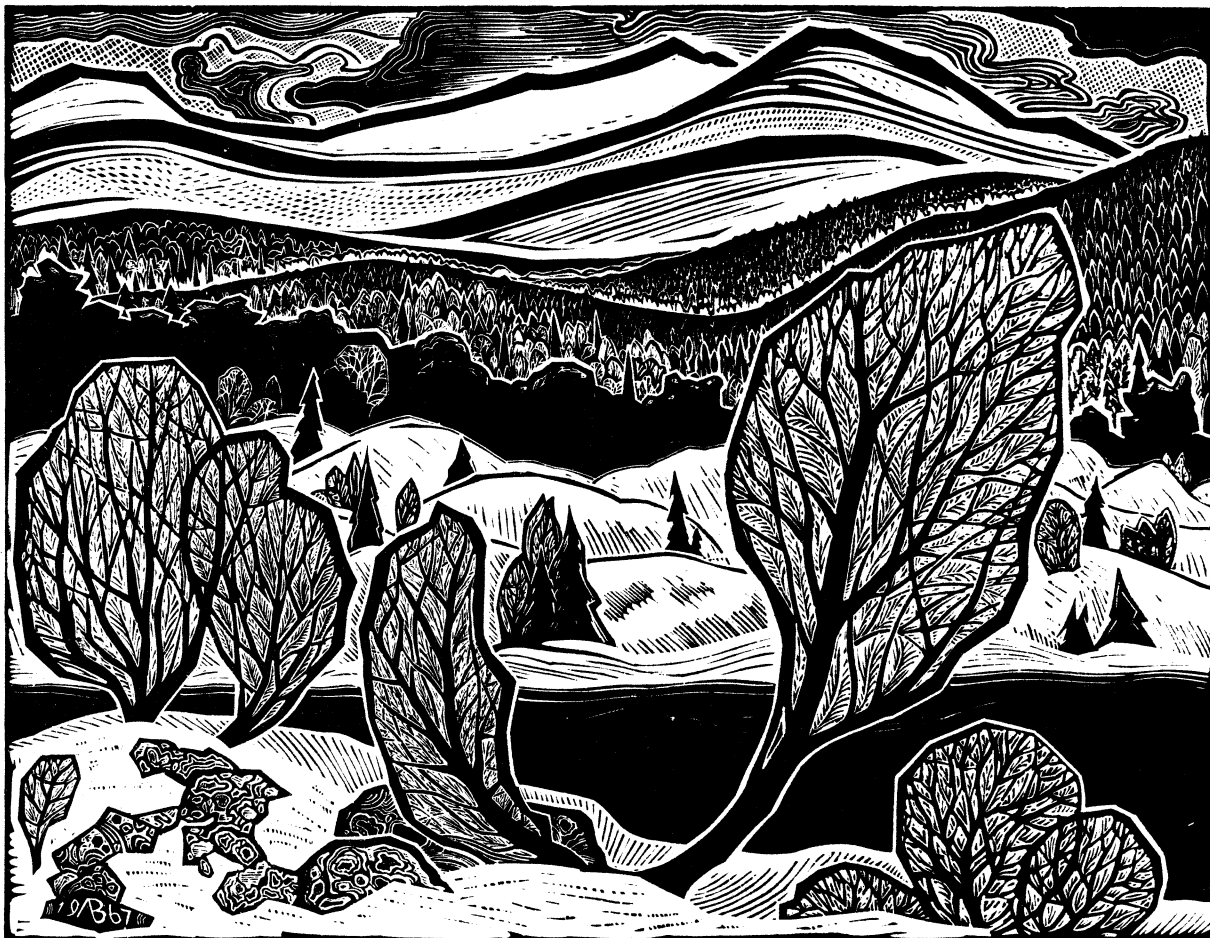
В век нынешний и век минувший.



Охотничьи трофеи.



Искусство не терпит фальши.



Л. ВЕЙБЕРТ

НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ

30 коп

73413

Главный редактор И. АКУЛОВ

Редколлегия: В. АЛЬТОВ, А. АСС, В. АСТАФЬЕВ, А. БОГАЧЕВ (зам. главного редактора), М. ГРОССМАН, Ю. КУРОЧКИН, О. ЛЕОНОВА, А. МАЛАХОВ, МУСА ГАЛИ, В. НИКОНОВ, Н. НИКОНСВ, Л. РУМЯНЦЕВ, И. ТАРАБУКИН (ответственный секретарь), Ю. ХАЗАНОВИЧ, В. ШУСТОВ